

**Николай Михайлович Карамзин
История государства Российского. Том XI**

История государства Российского – 11

Аннотация

«История Карамзина» — один из величайших памятников русской национальной культуры.

Одиннадцатый том «Истории государства Российского» — это описание царствования Бориса Годунова с 1598 года по 1605, «смутного времени» — 1605—1606 годы.

**Николай Михайлович Карамзин
«История государства Российского»
Том XI**

Глава I

Царствование Бориса Годунова. 1598—1604 г.

Москва встречает Царя. Присяга Борису. Соборная грамота. Деятельность Борисова. Торжественный вход в столицу. Знаменитое ополчение. Ханское Посольство. Угощение войска. Речь Патриарха. Прибавление к грамоте избирательной. Царское венчание. Милости. Новый Царь Касимовский. Происшествия в Сибири. Гибель Кучюма. Дело внешней Политики. Судьба Шведского Принца Густава в России. Перемирие с Литвою. Сношения с Швециею. Тесная связь с Даниею. Герцог Датский, жених Ксении. Переговоры с Австриею. Посольство Персидское. Происшествия в Грузии. Бедствие Россиян в Дагестане. Дружество с Англиею. Ганза. Посольство Римское и Флорентийское. Греки в Москве. Дела Ногайские. Дела внутренние. Жалованная грамота Патриарху. Закон о крестьянах. Питейные дома. Любовь Борисова к просвещению и к иноземцам. Похвальное слово Годунову. Горячность Борисова к сыну. Начало бедствий.

Духовенство, Синклит и чины государственные, с хоругвями Церкви и отечества, при звуке всех колоколов Московских и

восклицаниях народа, упоенного радостью, возвратились в Кремль, уже дав Самодержца России, но еще оставив его в келии. 26 Февраля 1598 г., в Неделю Сыропустную, Борис въехал в столицу: встреченный пред стенами деревянной крепости всеми гостями Московскими с хлебом, с кубками серебряными, золотыми, соболями, жемчугом и многими иными *дарами Царскими*, он ласково благодарил их, но не хотел взять ничего, кроме хлеба, сказав, что богатство в руках народа ему приятнее, нежели в казне. За гостями встретили Царя Иов и все Духовенство; за Духовенством Синклит и народ. В храме Успения отпев молебен, Патриарх *вторично* благословил Бориса на Государство, осенив крестом Животворящего Древа, и Клиросы пели многолетие как Царю, так и всему Дому державному: Царице Марии Григориевне, юному сыну их Феодору и дочери Ксении. Тогда *здравствовали* новому Монарху все Россияне; а Патриарх, воздев руки на небо, сказал: «Славим Тебя, Господи: ибо Ты не презрел нашего моления, услышал вопль и рыдание Христиан, преложил их скорбь на веселие и даровал нам Царя, коего мы денно и ночью просили у Тебя со слезами!» После Литургии Борис изъявил благодарность к памяти двух главных виновников его величия: в храме Св. Михаила пал ниц пред гробами Иоанновым и Феодоровым; молился и над прахом древнейших знаменитых венценосцев России: Калиты, Донского, Иоанна III, да будут его небесными пособниками в земных делах Царства; зашел во дворец; посетил Иова в обители Чудовской; долго беседовал с ним наедине; сказал ему и всем Епископам, что не может до Светлого Христова Воскресения оставить Ирины в ее скорби, и возвратился в Новодевичий монастырь, предписав Думе Боярской, с его ведома и разрешения, управлять делами государственными.

Между тем все люди служивые с усердием целовали крест в верности к Борису, одни пред славною Владимирскою иконою Девы Марии, другие у гроба святых Митрополитов Петра и Ионы: клялися не изменять Царю ни делом, ни словом; не умышлять на жизнь или здоровье державного, не вредить ему ни ядовитым зелием, ни чародейством; не думать о возведении на престол бывшего Великого Князя Тверского Симеона Бекбулатовича или сына его; не иметь с ними тайных сношений, ни переписки; доносить о всяких *скопах* и *заговорах*, без жалости к друзьям и ближним в сем случае; не уходить в иные земли: в Литву, Германию, Испанию, Францию или Англию. Сверх того Бояре, чиновники Думные и Посольские обязывались быть скромными в делах и тайнах государственных, судии не кривить душою в тяжбах, казначеи не корыстоваться Царским достоянием,

Дьяки не лихоимствовать. Послали в области грамоты известительные о счастливом избрании Государя, велели читать их всенародно, три дни звонить в колокола и молиться в храмах *сперва* о Царице-Инокине Александре, а *после* о державном ее брате, семействе его, Боярах и воинстве. Патриарх (9 Марта) Собором уставил торжественно просить Бога, да сподобит Царя благословенного возложить на себя венец и порфиру; уставил еще на веки веков праздновать в России 21 Февраля, день Борисова воцарения; наконец предложил Думе Земской утвердить данную Монарху присягу Соборную грамотою, с обязательством для всех чиновников не уклоняться ни от какой службы, не требовать ничего свыше достоинства родов или заслуги, всегда и во всем слушаться *указа Царского и приговора Боярского*, чтобы *в делах разрядных и земских не доводить государя до кручины*. Все члены Великой Думы ответствовали единогласно: «Даем обет положить свои души и головы за Царя, Царицу и детей их!» Велели писать хартию, в таком смысле, первым грамотеям России.

Сие дело чрезвычайное не мешало течению обыкновенных дел государственных, коими занимался Борис с отменною ревностью и в келиях монастыря и в Думе, часто приезжая в Москву. Не знали, когда он находил время для успокоения, для сна и трапезы: беспрестанно видели его в совете с Боярами и с Дьяками, или подле несчастной Ирины, утешающего и скорбящего днем и ночью. Казалось, что Ирина действительно имела нужду в присутствии единственного человека, еще милого ее сердцу: сраженная кончиною супруга, искренно и нежно любимого ею, она тосковала и плакала неутешно до изнурения сил, очевидно угасая и нося уже смерть в груди, истерзанной рыданиями. Святители, Вельможи тщетно убеждали Царя оставить печальную для него обитель, переселиться с супругою и с детьми в Кремлевские палаты, явить себя народу в венце и на троне: Борис отвечал: «не могу разлучиться с великою государынею, моею сестрою злосчастною», — и даже снова, неутомимый в лицемерии, уверял, что не желает быть Царем. Но Ирина вторично *велела* ему исполнить волю народа и Божию, приять скипетр и Царствовать не в келии, а на престоле Мономаховом. Наконец, Апреля 30, подвиглась столица во сретение Государю!

Сей день принадлежит к торжественнейшим дням России в ее истории. В час утра Духовенство с крестами и с иконами, Синклит, двор, приказы, воинство, все граждане ждали Царя у каменного мосту, близ церкви Св. Николая Зарайского. Борис ехал из Новодевичьего монастыря с своим семейством в великолепной колеснице: увидев

хоругви церковные и народ, вышел: поклонился святым иконам; милостиво приветствовал всех, и знатных и незнатных; представил им Царицу, давно известную благочестием и добродетелию искреннею, — девятилетнего сына и шестнадцатилетнюю дочь, Ангелов красотою. Слыша восклицания народа: «вы наши Государи, мы ваши подданные», Феодор и Ксения вместе с отцом ласкали чиновников и граждан; так же, как и он, взяв у них хлеб-соль, отвергнули золото, серебро и жемчуг, поднесенные им в дар, и звали всех обедать к Царю. Невозбранно теснимый бесчисленною толпою людей, Борис шел за Духовенством с супругою и с детьми, как добрый отец семейства и народа, в храм Успения, где Патриарх возложил ему на грудь Животворящий крест Св. Петра Митрополита (что было уже началом Царского венчания) и *в третий раз* благословил его на Великое Государство Московское. Отслушав Литургию, новый Самодержец, провождаемый Боярами, обходил все главные церкви Кремлевские, везде молился с теплыми слезами, везде слышал радостный клик граждан и, держа за руку своего юного наследника, а другою ведя прелестную Ксению, вступил с супругою в палаты Царские. В сей день народ обедал у Царя: не знали числа гостям, но все были званые, от Патриарха до нищего. Москва не видала такой роскоши и в Иоанново время. — Борис не хотел жить в комнатах, где скончался Феодор: занял ту часть Кремлевских палат, где жила Ирина, и велел пристроить к ним Для себя новый дворец деревянный.

Он уже Царствовал, но еще без короны и скиптра; еще не мог назваться Царем *Боговенчанным, Помазанником Господним* . Надлежало думать, что Борис немедленно возложит на себя венец со всеми торжественными обрядами, которые в глазах народа освящают лицо Властителя: сего требовали Патриарх и Синклит именем России; сего без сомнения хотел и Борис, чтобы важным церковным действием утвердить престол за собою и своим родом: но хитрым умом властвуя над движениями сердца, вымыслил новое очарование; вместо скиптра взял меч в десницу и спешил в поле, доказать, что безопасность отечества ему дороже и короны и жизни. Так Царствование самое миролюбивое началось ополчением, которое приводило на память восстание Россиян для битвы с Мамаем!

Еще в Марте месяце, из келии Новодевичьего монастыря, отправив гонца к Хану с дружественным письмом, Борис 1 Апреля сведал, по донесению Воеводы Оскольского, что пленник, взятый Козаками за Донцом в сшибке с толпою Крымских разбойников, говорит о намерении Казы-Гирея вступить в пределы Московские со всею Ордою

и с семью тысячами Султанских воинов. Борис не усомнился в истине столь мало достоверного известия и решился, не теряя времени, двинуть всю громаду наших сил к берегам Оки; писал о том к Воеводам, убедительно и ласково, требуя от них ревности в первой, важной опасности его Царствования, в доказательство любви к нему и к России. Сей указ произвел удивительное действие: не было ни ослушных, ни ленивых; все Дети Боярские, юные и престарелые, охотно садились на коней; городские и сельские дружины без отдыха спешили к местам сборным. Главному стану назначили быть в Серпухове, Правой Руке в Алексине,левой в Кошире, Передовому полку в Калуге, Сторожевому в Коломне. — 20 Апреля пришли новые вести: писали из Белагорода, что Татарин, схваченный Донскими Козаками на перевозе, сказывал им о сильном вооружении Хана; что толпы Крымские, хотя и малочисленные, показались в степях и гонят везде наших стражей. Тогда Борис велел все изготовить для *похода Царского* и 2 Мая выехал из Москвы в ратном доспехе, взяв с собою пять Царевичей: Киргизского, Сибирского, Шамахинского, Хивинского и сына Кайбулина, Бояр, Князей Мстиславского, Шуйских, Годуновых, Романовых и других, — многих знатных сановников, и между ими Богдана Бельского, — Печатника Василья Щелкалова, Дворян и Дьяков Думных, 44 Стольника, 20 Стряпчих, 274 Жильца — одним словом, всех людей нужных и для войны и для совета и для пышности дворской. В Москве остался, при Царицах инокине Александре и Марии, юный Феодор с Боярами Дмитрием Ивановичем Годуновым, Князьями Трубецким, Глинским, Черкасским, Шестуновым и другими; а при Феодоре *дядька* Иван Чемоданов. Сделали распоряжение в столице и на случай осады ее: назначили Воевод для защиты стен и башен, для отъездов, вылазок и битв вне укреплений. 10 Мая, в селе Кузминском, представили Царю двух пленников, Литовского и Цесарского, ушедших из Крыма: они уверяли, что Хан уже в поле и действительно идет на Москву. Тогда Борис послал гонцов ко всем начальникам степных крепостей *с милостивым словом* : в Тулу, Оскол, Ливны, Елец, Курск, Воронеж; сим гонцам велено было *спросить о здравии* как Воевод, так и Дворян, Сотников, Детей Боярских, стрельцов и Козаков; вручить грамоты Царские первым и требовать, чтобы они читали их всенародно. «Я стою на берегу Оки (писал Борис) и смотрю на степи: где явятся неприятели, там и меня увидите». В Серпухове он распорядил Воеводство, дав *почетное* Царевичам, и действительное пяти Князьям знатнейшим: в главной рати Мстиславскому, в Правой Руке Василию Шуйскому, влевой Ивану

Голицыну, в Передовом полку Дмитрию Шуйскому, в Сторожевом Тимофею Трубецкому. Оградою древней России, в случае Ханских впадений, служили, сверх крепостей, засеки в местах трудных для обхода: близ Перемышля, Лихвина, Белева, Тулы, Боровска, Рязани: Государь рассмотрел чертежи их и послал туда особенных Воевод с Мордвою и стрельцами; устроил еще *плавную*, или судовую, рать на Оке, чтобы тем более вредить неприятелю в битвах на берегах ее. Видели, чего не видали дотол: *полмиллиона войска*, как уверяют, в движении стройном, быстром, с усердием несказанным, с доверенностию беспредельною. Все действовало сильно на воображение людей: и новость Царствования, благоприятная для надежды, и высокое мнение о Борисовой, уже долговременными опытами изведанной мудрости. Исчезло самое местничество: Воеводы спрашивали только, где им быть, и шли к своим знаменам, не справляясь с разрядными книгами о службе отцов и дедов: ибо Царь объявил, что Великий Собор бил ему челом предписать Боярам и Дворянству *службу без мест*. Сия ревность, способствуя нужному повиновению, имела и другое важное следствие: умножила число воинов, и воинов исправных: Дворяне, Дети Боярские выехали в поле на лучших конях, в лучших доспехах, со всеми слугами, годными для ратного дела, к живейшему удовольствию Царя, который не знал меры в изъявлениях милости: ежедневно смотрел полки и дружины, приветствовал начальников и рядовых, угощал обедами, и всякий раз не менее десяти тысяч людей, на серебряных блюдах, под шатрами. Сии истинно Царские угощения продолжались шесть недель: ибо слухи о неприятеле вдруг замолкли; разъезды наши уже не встречали его; тишина Царствовала на берегах Донца, и стражи, нигде не видя пыли, нигде не слыша конского топота, дремали в безмолвии степей. Ложные ли слухи обманули Бориса, или он притворным легковерием обманул Россию, чтобы явить себя Царем не только Москвы, но и всего воинства, воспламенить любовь его к новому Самодержцу, в годину опасности предпочитающему бранный шлем венцу Мономахову, и тем удвоить блеск своего торжественного воцарения? Хитрость достойная Бориса и едва ли сомнительная. — Вместо тучи врагов, явились в южных пределах России мирные Послы Казы-Гиреевы с нашим гонцом: Елецкие Воеводы 18 июня донесли о том Борису, который наградил вестника деньгами и чином.

Следственно ополчение беспримерное, стоив великого иждивения и труда, оказалось напрасным? Уверяли, что оно спасло государство, поразив Хана ужасом; что Крымцы шли действительно, но узнав о

восстании России, бежали назад. По крайней мере Царь хотел впечатлеть ужас в Послов Ханских, из коих главным был Мурза Алей: они въехали в Россию как в стан воинский; видели на пути блеск мечей и копий, многолюдные дружины всадников, красиво одетых, исправно вооруженных; в лесах, в засеках слышали оклики и пальбу. Их остановили близ Серпухова, в семи верстах от Царских шатров, на лугах Оки, где уже несколько дней сходилась рать отовсюду. Там, 29 июня, еще до рассвета загремело сто пушек, и первые лучи солнца осветили войско несметное, готовое к битве. Велели Крымцам, изумленным сею ужасною стрельбою и сим зрелищем грозным, идти к Царю, сквозь тесные ряды пехоты, вдали окруженной густыми толпами конницы. Введенные в шатер Царский, где все блистало оружием и великолепием — где Борис, вместо короны увенчанный златым шлемом, первенствовал в сонме Царевичей и Князей не столько богатством одежды, сколько видом повелительным — Алей Мурза и товарищи его долго безмолвствовали, не находя слов от удивления и замешательства; наконец сказали, что Казы-Гирей желает вечного союза с Россиею, возобновляя договор, заключенный в Феодорово Царствование: *будет в воле* Борисовой и готов со всею Ордою идти на врагов Москвы. Послов угостили пышно и вместе с ними отправили наших к Хану для утверждения новой союзной грамоты его присягою.

В сей же день Св. Петра и Павла Царь простился с войском, дав ему роскошный обед в поле: 500000 гостей пировало на лугах Оки; яства, мед и вино развозили обозами; чиновников дарили бархатами, парчами и камками. Последним словом Царя было: «люблю воинство Христианское и надеюсь на его верность». Громкие благословения провождали Бориса далеко по Московской дороге. Воеводы, ратники были в восхищении от Государя столь мудрого, ласкового и счастливого: ибо он без кровопролития, одною угрозою, дал отечеству вождеденнейший плод самой блестящей победы: тишину, безопасность и честь! Россияне надеялись, говорит Летописец, что все Царствование Борисово будет подобно его началу, и славили Царя искренно. — Для наблюдения осталась часть войска на Оке; другая пошла к границе Литовской и Шведской; большую часть распустили: но все знатнейшие чиновники спешили вслед за Государем в столицу.

Там новое торжество ожидало Бориса: вся Москва встретила его, как некогда Иоанна, завоевателя Казани, и Патриарх в приветственной речи сказал ему: «Богом избранный, Богом возлюбленный, великий Самодержец! Мы видим славу твою: ты благодаришь Всевышнего! Благодарим Его вместе с тобою; но радуйся же и веселися с нами,

совершив подвиг бессмертный! Государство, жизнь и достояние людей целы; а лютой враг, преклонив колена, молит о мире! *Ты не скрыл, но умножил талант свой* в сем случае удивительном, ознаменованном более, нежели человеческою мудростию... — Здравствуй о Господе, Царь любезный Небу и народу! От радости плачем и тебе кланяемся». Патриарх, Духовенство и народ преклонились до земли. Изъявляя чувствительность и смирение, Государь спешил в храм Успения славословить Всевышнего и в монастырь Новодевичий к печальной Ирине.

Все дома были украшены зеленью и цветами.

Но Борис еще отложил свое Царское венчание до 1 Сентября, чтобы совершить сей важный обряд в Новое Лето, в день общего доброжелательства и надежд, лестных для сердца. Между тем грамота избирательная была написана от имени Земской Думы с таким прибавлением: «Всем ослушникам Царской воли неблагословение и клятва от Церкви, мечь и казнь от Синклита и Государства; клятва и казнь всякому мятежнику, *раскольнику любопрительному*, который дерзнет противоречить деянию соборному и колебать умы людей молвами злыми, кто бы он ни был, священного ли сана или Боярского, Думного или воинского, гражданин или Вельможа: да погибнет и память его вовеки!» Сию грамоту утвердили 1 Августа своими подписями и печатями Борис и юный Феодор, Иов, все Святители, Архимандриты, Игумены, Протопопы, Келари, старцы чиновные, — Бояре, Окольничие, знатные сановники двора, Печатник Василий Щелкалов, Думные Дворяне и Дьяки, Стольники, Дьяки Приказов, Дворяне, Стряпчие и Выборные из городов, Жильцы, Дьяки нижней степени, гости, Сотские, числом около пятисот: один список ее был положен в сокровищницу Царскую, где лежали государственные уставы прежних Венценосцев, а другой в Патриаршую ризницу в храме Успения. — Казалось, что мудрость человеческая сделала все возможное для твердого союза между Государем и Государством!

Наконец Борис венчался на Царство, еще пышнее и торжественнее Феодора, ибо приял утварь Мономахову из рук Вселенского Патриарха. Народ благоговел в безмолвии; но когда Царь, осененный десницею Первосвятителя, в порыве живого чувства как бы забыв устав церковный, среди Литургии воззвал громогласно: «Отче, великий патриарх Иов! Бог мне свидетель, то в моем Царстве не будет ни сирого, ни бедного» — и, тряся верх своей рубашки, примолвил: «отдам и сию последнюю народу»: тогда единодушный восторг прервал священнодействие: слышны были только клики умиления и

благодарности в храме; Бояре славословили Монарха, народ плакал. Уверяют, что новый Венценосец, тронутый знаками общей к нему любви, тогда же произнес и другой важный обет: щадить жизнь и кровь самых преступников и единственно удалять их в пустыни Сбирские. Одним словом, никакое Царское венчание в России не действовало сильнее Борисова на воображение и чувство людей. — Осыпанный в дверях церковных золотом из рук Мстиславского, Борис в короне, с державою и скиптром спешил в Царскую палату занять место Вряжских Князей на троне России, чтобы милостями, щедротами и государственными благодеяниями праздновать сей день великий.

Начался с Двора и Синклита: Борис пожаловал Царевича Киргизского, Ураз-Магмета, в Цари Касимовские; Дмитрия Ивановича Годунова в Конюшие, Степана Васильевича Годунова в Дворецкие (на место доброго Григорья Васильевича, который один не радовался возвышению своего рода и в тайной горести умер); Князей Катырева, Черкасского, Трубецкого, Ноготкова и Александра Романова-Юрьева в Бояре; Михайла Романова, Бельского (любимца Иоаннова и своего бывшего друга), Кривого-Салтыкова (также любимца Иоаннова) и четырех Годуновых в Окольничие; многих в стольники и в иные чины. Всем людям служивым, воинским и гражданским он указал выдать двойное жалованье, гостям Московским и другим торговать беспошлинно два года, а земледельцев казенных и самых диких жителей Сибирских освободить от податей на год. К сим милостям чрезвычайным прибавил еще новую для крестьян господских: оставил, сколько им работать и платить господам законно и безобидно. — Обнародовав с престола сии Царские благодеяния, Борис двенадцать дней угощал народ пирами.

Казалось, что и Судьба благоприятствовала новому Монарху, ознаменовав начало его державства и вожделенным миром и счастливым успехом оружия, в битве маловажной числом воинов, но достопамятной своими обстоятельствами и следствиями, местом победы, на краю света, и лицом побежденного. Мы оставили Царя-изгнанника Сибирского Кучюма в степи Барабинской, непреклонного к милостивым предложениям Феодоровым, неутомимого в набегах на отнятые у него земли и все еще для нас опасного. Воевода Тарский, Андрей Воейков, выступил (4 Августа 1598) с 397 Козаками, Литовцами и людьми ясашными к берегам Оби, где среди полей, засеянных хлебом и вдали окруженных болотами, гнезился Кучюм с бедными остатками своего Царства, с женами, с детьми, с верными ему Князьями и воинами, числом до пятисот. Он не

ждал врага: бодрый Воейков шел день и ночь, кинув обоз; имел лазутчиков, хватал неприятельских, и 20 Августа пред восходом солнца напал на укрепленный стан Ханский. Целый день продолжалась битва, уже последняя для Кучюма: его брат и сын, Илитен и Кан, Царевичи, 6 Князей, 10 Мурз, 150 лучших воинов пали от стрельбы наших, которые около вечера вытеснили Татар из укрепления, прижали к реке, утопили их более ста и взяли 50 пленников; немногие спаслись на судах в темноте ночи. Так Воейков отмстил Кучюму за гибель Ермака неосторожного! Восемь жен, пять сыновей и восемь дочерей Ханских, пять Князей и немало богатства остались в руках победителя. Не зная о судьбе Кучюма и думая, что он, подобно Ермаку, утонул во глубине реки, Воейков не рассудил за благо идти далее: сжег, чего не мог взять с собою, и с знатными своими пленниками возвратился в Тару донести Борису, что в Сибири уже нет иного Царя, кроме Российского. Но Кучюм еще жил, двумя усердными слугами во время битвы увезенный на лодке вниз по Оби в землю Чатскую. Еще Воеводы наши снова предлагали ему ехать в Москву, соединиться с его семейством и мирно дожить век благодеяниями Государя великодушного. Сеит, именем Тул-Мегмет, посланный Воейковым, нашел Кучюма в лесу близ того места, где лежали тела убитых Россиянами Татар, на берегу Оби: слепой старец, неодолимый бедствиями, сидел под деревом, окруженный тремя сыновьями и тридцатью верными слугами; выслушал речь Сеитову о милости Царя Московского и спокойно отвечив: «Я не поехал к нему и в лучшее время доброю волею, целый и богатый: теперь поеду ли за смертью? Я слеп и глух, беден и сир. Жалею не о богатстве, но только о милом сыне Асманаке, взятом Россиянами: с ним одним, без Царства и богатства, без жен и других сыновей, я мог бы еще жить на свете. Теперь посылаю остальных детей в Бухарию, а сам еду к Ногаям». Он не имел ни теплой одежды, ни коней и просил их из милости у своих бывших подданных, жителей Чатской волости, которые уже обещались быть данниками России: они прислали ему одного коня и шубу.

Кучюм возвратился на место битвы и там, в присутствии Сеита, занимался два дня погребением мертвых тел; в третий день сел на коня — и скрылся для Истории. Остались только неверные слухи о бедственной его кончине: пишут, что он, скитаясь в степях Верхнего Иртыша в земле Калмыцкой и близ озера Заисан-Нора, похитив несколько лошадей, был гоним жителями из пустыни в пустыню, разбит на берегу озера Кургальчина и почти один явился в Улусе Ногаев, которые безжалостно умертвили слепого старца изгнанника,

сказав: «Отец твой нас грабил, а ты не лучше отца». Весть о сем происшествии обрадовала Москву и Россию: Борис с донесением Воейкова спешил ночью в монастырь к Ирине, любя делить с нею все чистые удовольствия державного сана. Истребление Кучюма, первого и последнего Царя Сибирского, если не могуществом, то непреклонною твердостью в злосчастии достопамятного, как бы запечатлело для нас господство над полунощною Азиею. В столице и во всех городах снова праздновали завоевание сего неизмеримого края, звоном колокольным и молебнами. Воейкова наградили золотою медалью, а его сподвижников деньгами; велели привезти знатных пленников в Москву и дали народу удовольствие видеть их торжественный въезд (в Генваре 1599). Жены, дочери, невестки и сыновья Кучюмовы (юноши Асманак и Шаим, отрок Бабадша, младенцы Кумуш и Молла) ехали в богатых *резных* санях: Царицы и Царевны в шубах бархатных, атласных и камчатных, украшенных золотом, серебром и кружевом; Царевичи в ферезях багряных, на мехах драгоценных; впереди и за ними множество всадников, Детей Боярских, по два в ряд, все в шубах собольих, с пищалями. Улицы были наполнены зрителями, Россиянами и чужеземцами. Цариц и Царевичей разместили в особенных домах, купеческих и Дворянских; давали им содержание пристойное, но весьма умеренное; наконец отпустили жен и дочерей Ханских в Касимов и в Бежецкий Верх к Царю Ураз-Магмету и к Царевичу Сибирскому Маметкулу, согласно с желанием тех и других. Сын Кучюмов Абдул-Хаир, взятый в плен еще в 1591 году, принял тогда Христианскую Веру и был назван Андреем.

С сего времени уже не имея войны, но единственно усмиряя, без важных усилий, строптивость наших данников в Сибири и страхом или выгодами мирной, деятельной власти умножая число их, мы спокойно занимались там основанием новых городов: Верхотурья в 1598, Мангазеи и Туринска в 1600, Томска в 1604 годах; населяли их людьми воинскими, семейными, особенно Козаками Литовскими или Малороссийскими, и самых коренных жителей Сибирских употребляли на ратное дело, вселяя в них усердие к службе льготою и честью, так что с величайшею ревностью содействовали нам в покорении своих единоплеменников. Одним словом, если случай дал Иоанну Сибирь, то государственный ум Борисов надежно и прочно вместил ее в состав России.

В делах внешней политики Российской ничто не переменилось: ни дух ее, ни виды. Мы везде хотели мира или приобретений без войны, готовясь единственно к оборонительной; не верили доброжелательству

тех, коих польза была несовместна с нашею, и не упускали случая вредить им без явного нарушения договоров.

Хан, уверяя Россию в своей дружбе, откладывал торжественное заключение нового договора с новым Царем: между тем Донские Козаки тревожили набегами Тавриду, а Крымские разбойники Белгородскую область. Наконец, в июне 1602 года, Казы-Гирей, приняв дары, оцененные в 14000 рублей, вручил послу, Князю Григорию Волконскому, шертную грамоту со всеми торжественными обрядами, но еще хотел тридцати тысяч рублей и жаловался, что Россияне стесняют Ханские Улусы основанием крепостей в степях, которые были дотоле привольем Татарским. «Не видим ли (говорил он) вашего умысла, столь недружелюбного? Вы хотите задушить нас в ограде. А я вам друг, каких мало. Султан живет мыслию идти войною на Россию, но слышит от меня всегда одно слово: *далеко! там пустыни, леса, воды, болота, грязи непроходимые* ». Царь отвечал, что казна его истощилась от милостей, оказанных войску и народу; что крепости основаны единственно для безопасности наших Посольств к Хану и для обуздания хищных Донских Козаков; что мы, имея рать сильную, не боимся Султановой. Любимец Казы-Гиреев Ахмет-Челибей, присланный к Царю с союзною грамотою, требовал от него клятвы в верном исполнении взаимных условий: Борис взял в руки *книгу* (без сомнения не Евангелие) и сказал: «Обещаю искреннее дружество Казы-Гирею: вот моя *большая присяга* », не хотел ни целовать креста, ни показать сей книги Челибею, коего уверяли, что Государь Российский из особенной любви к Хану изустно произнес священное обязательство союза и что договоры с иными венценосцами утверждаются только Боярским словом. Так Борис, вопреки древнему обыкновению, уклонился от бесполезного унижения святыни в делах с варварами, уважающими одну корысть и силу; честил Хана умеренными дарами, а всего более надеялся на войско, готовое для защиты юго-восточных пределов России, и сохранил их спокойствие. Были взаимные досады, однако ж без всяких неприятельских действий. В 1603 году Казы-Гирей с гневом выслал из Тавриды нового Посла Государева Князя Борятинского за то, что он не хотел удержать Донских Козаков от впадения в Карасанский Улус, ответствуя грубо: «у вас есть сабля; а мое дело сноситься только с Ханом, не с ворами Козаками». Но сей случай не произвел разрыва: Хан жаловался без угроз и подтвердил обязательство умереть нашим другом, опасаясь тогда Султана и думая найти защитника в Борисе.

В делах с Литвою и с Швециею Борис также старался возвысить

достоинство России, пользуясь случаем и временем. Сигизмунд, именем еще Король Швеции, уже воевал с ее Правителем, дядею своим, Герцогом Карлом, и склонил Вельможных Панов к участию в сем междоусобии, уступив их отечеству Эстонию. В таких благоприятных для нас обстоятельствах Литва домогалась прочного мира, а Швеция союза с Россиюю: Борис же, изъявляя готовность к тому и к другому, вымышлял легкий способ взять у них, что было нашим и что мы уступили им невольно: древние Орденские владения, о коих столько жалел Иоанн, жалела и Россия, купив оные долговременными, кровавыми трудами и за ничто отдав властолюбивым иноземцам.

Мы упоминали о сыне Шведского Короля Эрика, изгнаннике Густаве. Скитаясь из земли в землю, он жил несколько времени в Торне, скудным жалованьем брата своего Сигизмунда и решился (в 1599 году) искать счастья в нашем отечестве, куда звали его и Феодор и Борис, предлагая ему не только временное убежище, но и знатное поместье или удел. На границе, в Новгороде, в Твери ждали Густава сановники царские с приветствиями и дарами; одели в золото и в бархат; ввезли в Москву на богатой колеснице; представили Государю в самом пышном собрании Двора. Поцеловав руку у Бориса и юного Феодора, Густав произнес речь (зная Славянский язык); сел на золотом изголовье; обедал у Царя за столом особенным, имея особенного крайчего и чашника. Ему дали огромный дом, чиновников и слуг, множество драгоценных сосудов и чаш из кладовых Царских; наконец Удел Калужский, три города с волостями, для дохода. Одним словом, после Борисова семейства Густав казался первым человеком в России, ежедневно ласкаемый и даримый. Он имел достоинства: душевное благородство, искренность, сведения редкие в науках, особенно в химии, так что заслужил имя второго Феофраста Парацельса; знал языки, кроме Шведского и Славянского, Италиянский, Немецкий, Французский; много видел в свете, с умом любопытным, и говорил приятно. Но не сии достоинства и знания было виною Царской к нему милости: Борис мыслил употребить его в орудие политики как второго Магнуса, желая иметь в нем страшилище для Сигизмунда и Карла; обольстил Густава надеждою быть Властителем Ливонии с помощью России и хитро приступил к делу, чтобы обольстить и Ливонию. Еще многие сановники Дерптские и Нарвские жили в Москве с женами и детьми в неволе сносной, однако ж горестной для них, лишенных отечества и состояния: Борис дал им свободу с условием, чтобы они присягнули ему в верности неизменной; ездили, куда хотят: в Ригу, в Литву, в Германию для торговли, но везде были его усердными

слугами, наблюдали, выведывали важное для России и тайно доносили о том Печатнику Щелкалову. Сии люди, некогда купцы богатые, уже не имели денег: Царь велел им раздать до двадцати пяти тысяч нынешних рублей серебряных, чтобы они тем ревностнее служили России и преклоняли к ней своих единоплеменников. Зная неудовольствие жителей Рижских и других Ливонцев, утесняемых Правительством и в гражданской жизни и в богослужении, Царь велел тайно сказать им, что если хотят они спасти вольность свою и Веру отцов; если ужасаются мысли рабствовать всегда под тяжким игом Литвы и сделаться *Папистами или Иезуитами* : то щит России над ними, а меч ее над их утеснителями; что сильнейший из Венценосцев, равно славный и мудростию и человеколюбием, желает быть отцем более, нежели Государем Ливонии и ждет Депутатов из Риги, Дерпта и Нарвы для заключения условий, которые будут утверждены присягою Бояр; что свобода, законы и Вера останутся там неприкосновенными под его верховною властью. В то же время Воеводы Псковские должны были искусно разгласить в Ливонии, что Густав, столь милостиво принятый Царем, немедленно вступит в ее пределы с нашим войском, дабы изгнать Поляков, Шведов и господствовать в ней с правом наследственного Державца, но с обязанностию Российского присяжника. Сам Густав писал к Герцогу Карлу: «Европе известна бедственная судьба моего родителя; а тебе известны ее виновники и мои гонители: оставляю месть Богу. Ныне я в *тихом и безбоязненном пристанище* у великого Монарха, милостивого к несчастным державного племени. Здесь могу быть полезен нашему любезному отечеству, если ты уступишь мне Эстонию, угрожаемую Сигизмундовым властолюбием: с помощью Божиею и Царскою буду не только стоять за города ее, но возьму и всю Ливонию, мою законную отчину». Заметим, что о сем письме не упоминается в наших переговорах с Швециею; оно едва ли было доставлено Герцогу: сочиненное, как вероятно, в приказе Московском, ходило единственно в списках из рук в руки между Ливонскими гражданами, чтобы волновать их умы в пользу Борисова замысла. Так мы хитрили, будучи в перемирии с Литвою и в мире с Швециею!

Но сия хитрость, не чуждая коварства, осталась бесплодною — от трех причин: 1) Ливонцы издревле страшились и не любили России; помнили историю Магнуса и видели еще следы Иоаннова свирепства в их отечестве; слушали наши обещания и не верили. Только некоторые из Нарвских жителей, тайно сносясь с Борисом, умышляли сдать ему сей город; но, обличенные в сей измене, были казнены всенародно. 2)

Мы имели лазутчиков, а Сигизмунд и Карл войско в Ливонии: могла ли она, если бы и хотела, думать о Посольстве в Москву? Густав лишился милости Бориса, который думал женить его на Царевне Ксении, с условием, чтобы он исповедовал одну Веру с нею; но Густав не согласился изменить своему Закону, ни оставить любовницы, привезенной им с собою из Данцига; не хотел быть, как пишут, и слепым орудием нашей Политики ко вреду Швеции; требовал отпуска и, разгоряченный вином, в присутствии Борисова медика Фидлера грозился зажечь Москву, если не дадут ему свободы выехать из России: Фидлер сказал о том Боярину Семену Годунову, а Боярин Царю, который, в гневе отняв у неблагодарного и сокровища и города, велел держать его под стражею в доме; однако ж скоро умилостивился и дал ему вместо Калуги разоренный Углич. Густав (в 1601 году) снова был у Царя, но уже не обедал с ним; удалился в свое поместье и там, среди печальных развалин, спокойно занимался химиею до конца Борисовой жизни. Неволею перевезенный тогда в Ярославль, а после в Кашин, сей несчастный Принц умер в 1607 году, жалуясь на ветреность той женщины, которой он пожертвовал блестящею долею в России. Уединенную могилу его в прекрасной березовой роще, на берегу Кашенки, видели знаменитый Шведский Военачальник Иаков де-ла-Гарди и Посланник Карла IX Петрей в царствование Шуйского.

Между тем мы имели случай гордостью отплатить Сигизмунду за уничтожение, претерпенное Иоанном от Батория. Великий Посол Литовский Канцлер Лев Сапега, приехав в Москву, жил шесть недель в праздности для того, как ему сказывали, что Царь мучился подагрой. Представленный Борису (16 Ноября 1600), Сапега явил условия, начертанные Варшавским Сеймом для заключения вечного мира с Россиею: их выслушали, отвергнули и еще несколько месяцев держали Сапегу в скучном уединении, так что он грозился сесть на коня и без дела уехать из Москвы. Наконец, будто бы из уважения к милостивому ходатайству юного Борисова сына, Государь велел Думным Советникам заключить перемирие с Литвою на 20 лет. 11 Марта (1601 года) написали грамоту, но не хотели именовать в ней Сигизмунда *Королем Швеции* под лукавым предлогом, что он не известил ни Феодора, ни Бориса о своем восшествии на трон отцевский: в самом же деле мы пользовались случаем мести за старое упрямство Литвы называть Государей Российских единственно Великими Князьями и тем еще давали себе право на благодарность Шведского Властителя — право входить с ним в договоры как с законным Монархом. Тщетно Сапега возражал, требовал, молил, даже *с слезами* , чтобы внести в грамоту

весь титул Королевский: ее послали к Сигизмунду для утверждения с Боярином Михайлом Глебовичем Салтыковым и с Думным Дьяком Афанасием Власьевым, которые, невзирая на худое гостеприимство в Литве, успели в главном деле, к чести двора Московского. Сигизмунд предводительствовал тогда войском в Ливонии и звал их к себе в Ригу: они сказали: «будем ждать Короля в Вильне», — и поставили на своем; в глубокую осень жили несколько времени на берегах Днепра в шатрах; терпели холод и недостаток, но принудили Короля ехать для них в Вильну, где начались жаркие прения. Литовские Вельможи говорили Салтыкову и Власьеву: «если действительно хотите мира, то признайте нашего Короля Шведским, а Эстонию собственностию Польши». Салтыков отвечал: «Мир вам нужнее, нежели нам. Эстония и Ливония собственность России от времен Ярослава Великого; а Шведским Королевством владеет ныне Герцог Карл: Царь не дает никому пустых титулов». «...Карл есть изменник и хищник, — возражали Паны: — Государь ваш перестанет ли называться в титуле *Астраханским* или *Сибирским*, если какой-нибудь разбойник на время завладеет сими землями? Знатная часть Венгрии ныне в руках Султана, но Цесарь именуется Венгерским, а Король Испанский Иерусалимским». Убеждения остались без действия; но Сигизмунд, целуя крест пред нашими Послами (7 Генваря 1602) с обещанием свято хранить договор, примолвил: «Клянуся именем Божиим умереть с моим наследственным титулом Короля Шведского, не уступать никому Эстонии и в течение сего двадцатилетнего перемирия добывать Нарвы, Ревеля и других городов ее, кем бы они ни были заняты». Тут Салтыков выступил и сказал громко: «Король Сигизмунд! Целуй крест к Великому Государю Борису Феодоровичу по точным словам грамоты, без всякого прибавления — или клятва не в клятву!» Сигизмунд должен был переговорить свою речь, как требовал Боярин и смысл грамоты. Следственно в Москве и в Вильне Политика Российская одержала верх над Литовскою: Король уступил, ибо не хотел воевать в одно время и с Шведами и с нами; устоял только в отказе величать Бориса именем *Царя* и *Самодержца*, чего мы требовали и в Москве и в Вильне, но удовольствовались словом, что сей титул, бесспорно, будет дан Королем Борису при заключении мира вечного. «Хорошо (говорили Паны) и двадцать лет не лить Христианской крови: еще лучше успокоить навсегда обе Державы. Двадцать лет пройдут скоро; а кто будет тогда Государем и в Литве и в России, неизвестно». Заметим еще обстоятельство достопамятное: Послы Московские, в день своего отпуска пируя во дворце Королевском, увидели юного Сигизмундова

сына, Владислава, и как бы в предчувствии будущего вызвались целовать у него руку: сей отрок семилетний, коему надлежало в возрасте юноши явиться столь важным действующим лицом в нашей истории, приветствовал их умно и ласково; встав с места и сняв с себя шляпу, велел кланяться Царевичу Феодору и сказать ему, что желает быть с ним в искренней дружбе. Знатный Боярин Салтыков и Думный Дьяк Власьев, который заменил Щелкалова в делах государственных, могли, храня в душе приятное воспоминание о юном Владиславе, вселить во многих Россиян добрые мысли о сем, действительно любезном Королевиче. — Возвратясь, Послы донесли Борису, что он может быть уверен в безопасности и тишине с Литовской стороны на долгое время; что Король и Паны знают, видят силу России, управляемую столь мудрым Государем, и конечно не помыслят нарушить договора ни в каком случае, внутренно славя миролюбие Царя как особенную милость Божию к их отечеству.

Мы сказали, что Правитель Швеции искал союза России: Борис, убеждая Герцога не мириться с Сигизмундом, позволял Шведам идти из Финляндии к Дерпту чрез Новгородское владение и хотел действовать вместе с ними для изгнания Поляков из Ливонии. Королевские чиновники ездили в Москву, наши в Стокгольм с изъявлениями взаимного дружества. В знак чрезвычайного уважения к Борису, Герцог тайно спрашивал у него, исполнить ли ему волю чинов государственных и назваться ли Королем Шведским? Царь советовал *исполнить и немедленно, для истинного блага Швеции*, и тем заслужил живейшую признательность Карлову; советовал искренно, ибо безопасность России требовала, чтобы Литва и Швеция имели разных Властителей. Но мы желали Нарвы, и для того хитрый Царь (в Феврале 1601) объявил Шведским Послам Карлу Гендрихсону и Георгию Клаусону, бывшим у нас в одно время с Литовским Канцлером Сапегою, что должно еще снова рассмотреть и торжественно утвердить мирную грамоту 1597 года, писанную от имени Феодорова и Сигизмундова: что она недействительна, ибо Сигизмунд не утвердил ее; что обстоятельства переменялись и что сей Король готов уступить нам часть Ливонии, если будем помогать ему в войне с Герцогом. Послы удивились. «Мы заключили мир (говорили они Боярам) не между Феодором и Сигизмундом, а между Швециею и Россиею, до скончания веков, именем Божиим, и добросовестно исполнили условия: отдали Кексгольм вопреки Сигизмундову несогласию. Нет, Герцог Карл не поверит, чтобы Царь думал нарушить обет, запечатленный целованием креста на святом Евангелии. Если Сигизмунд уступает вам

города в Ливонии, то уступает не свое: половина ее завоевана Герцогом. И союз с Литвою надежен ли для Царя? Прекратились ли споры о Киеве и Смоленске? Гораздо скорее можно согласить выгоды Швеции и России: главная их выгода есть мирное, доброе соседство. Не сам ли Царь убеждал Карла не мириться с Сигизмундом? Мы воюем и берем города: что мешает вам также ополчиться и разделить Ливонию с нами?» Но Борис, с удовольствием видя пламя войны между Герцогом и Королем, не мыслил в ней участвовать, по крайней мере до времени; заключив перемирие с Литвою, медлил утвердить бескорыстный мир с Карлом; отпустил его Послов ни с чем и, тайно склоняя жителей Эстонии изменить Шведам, чтобы присоединиться к России, досаждал ему сим непрямоушием — но в то же время искренно доброхотствовал в войне Ливонской: ибо торжество Сигизмундово угрожало нам соединением Шведской короны с Польскою, а торжество Карлово разделяло их навеки. Борис первый из Государей Европейских и всех охотнее признал Герцога Королем Швеции и в сношениях с ним уже давал ему сие имя, когда и сам Герцог еще назывался только Правителем.

Новая важная связь Борисова с наследственным врагом Швеции могла также беспокоить Карла. Известив соседственных и других Венценовцев, Императора, Елисавету о своем воцарении, Борис долго медлил оказать сию учтивость Королю Датскому, Христиану; но с 1601 года начались весьма дружелюбные сношения между ими. В одно время Послы Христиановы, Эске-Брок и Карл Бриске, отправились в Москву, а наши, знатный Дворянин Ржевский и Дьяк Дмитриев в Копенгаген для взаимного приветствия и для разрешения старых, бесконечных споров о Кольских и Варгавских пустынях. Доказывая, что вся Лапландия принадлежала Норвегии, Христиан ссылался на Историю Саксона Грамматика и даже на Мюнстерову Космографию; говорил еще, что сами Россияне издревле называют Лапландию *Мурманскою* или Норвежскою землею; а мы возражали, что она без сомнения наша, ибо в Царствование Василия Иоанновича Новгородский Священник Илия крестил ее диких жителей, и еще утверждали сие право собственности следующею повестью, основанною на предании тамошних старцев: «Жил некогда в Кореле, или Кексгольме, знаменитый *Владелец* именем *Валит*, или Варент, данник великого Новагорода, муж необычной храбрости и силы: воевал, побеждал и хотел господствовать над Лопью, или *Мурманскою* землею. Лопари требовали защиты соседственных *Норвежских* Немцев; но Валит разбил и Немцев, там, где ныне *летний* погост

Варенгский , и где он, в память векам, положил своими руками огромный камень в вышину более сажени; сделал вокруг его твердую ограду *в двенадцать стен* и назвал ее *Вавилоном* , сей камень и теперь именуется *Валитовым* . Такая же ограда существовала на месте Кольского острога. Известны еще в земле Мурманской *Губа Валитова* и *Городище Валитово* среди острова или высокой скалы, где безопасно отдыхал витязь Корельский. Наконец побежденные Немцы заключили с ним мир, отдав ему всю Лопь до реки Ивгея. Долго славный и счастливый, Валит, именем Христианским Василий, умер и схоронен в Кексгольме в церкви Спаса; Лопари же с того времени платили дань Новугороду и Царям Московским». Сии исторические доводы с обеих сторон были не весьма убедительны, и датчане в знак миролюбия желали разделить Лапландию с нами вдоль или поперек на две равные части; а Борис, из любви к Христиану, уступал ему все земли за монастырем Печенским к северу, предоставляя Датским и Российским чиновникам на будущем съезде близ Колы означить границы обеих Держав. Между тем возобновили договор о свободной торговле Датских купцов в России; условились и в деле важнейшем.

Борис искал достойного жениха для прелестной Царевны между Европейскими Принцами державного племени, чтобы таким союзом возвысить блеск своего Дому в глазах Бояр и Князей Российских, которые еще недавно видели Годуновых ниже себя: не успев в намерении отдать руку дочери вместе с Ливониею Густаву, сей нежный родитель и хитрый Политик надеялся доставить счастье Ксении и выгоды Государству супружеством ее с Герцогом Иоанном, братом Христиановым, юношею умным и приятным, который, подобно Густаву, мог служить орудием наших властолюбивых замыслов на Эстонию, бывшую собственностью Дании. Царь предложил, и Король, не уstraшенный судьбою Магнуса, обрадовался чести быть сватом знаменитого Самодержца Московского, в надежде его усердным вспоможением осилить враждебную Швецию. К сожалению, любопытные бумаги о сем сватовстве утратились: не знаем условий о Вере, о приданом, ни других взаимных обязательств; но знаем, что Иоанн согласился жертвовать Ксении отечеством и быть Удельным Князем в России: не для того ли, чтобы в случае возможного несчастья, преждевременной кончины юного Царевича трон Московский имел наследников в семействе Борисовом? о чем, вероятно, думал Царь дальновидный, с горячностью любя сына, но любя и мысль о непрерывном наследстве короны, в течение веков, для своего рода. Жених воевал тогда в Нидерландах под знаменами Испании: спешил

возвратиться, сел на Адмиральский корабль и вместе с пятью другими приплыл (10 Августа 1602) к устью Наровы. Там ожидала гостя ладия Царская, устланная бархатом — и как скоро Герцог ступил на землю Русскую, загремели пушки: Боярин Михайло Глебович Салтыков и Думный Дьяк Власьев приветствовали его именем Царя, — ввели в богатый шатер и поднесли ему 80 драгоценнейших соболей. В карете, блистающей золотом и серебром, Иоанн ехал в Иваньгород мимо Нарвы, где развевались знамена, на башнях и стенах, усеянных любопытными зрителями: так приветствовали его и Шведы, внутренно опасаясь сего путешествия, коего цель они уже знали или угадывали.

Гораздо искреннее честили Герцога в России. С ним были Послы Христиановы, три сенатора (Гильденстерн, Браге и Гольк), восемь знатных сановников, несколько Дворян, два медика, множество слуг: на каждом стане, в самых бедных деревнях, угощали их как бы во дворце Московском; за обедом играла музыка. В городах стреляли из пушек; войско стояло в ружье и чиновники за чиновниками представлялись *Светлейшему Королевичу*. Ехали медленно, в день не более тридцати верст, чрез Новгород, Валдай, Торжок и Старицу. Путешественник не скучал; в часы роздыха гулял верхом или по рекам на лодках; забавлялся охотою, стрелял птиц; беседовал с Боярином Салтыковым и Дьяком Власьевым о России, желая знать ее государственные уставы и народные обыкновения. Послы Христиановы советовали ему не вдруг перенимать наши обычаи и держаться еще Немецких: «еду к Царю (говорил он) за тем, чтобы навикать всему Русскому». Будучи 1 Сентября в Бронницах, Иоанн сказал Салтыкову: «Я знаю, что в сей день вы празднуете новый год; что Духовенство, Синклит и Двор ныне торжественно желают многолетия Государю: еще не имею счастья видеть его лицо, но также усердно молюся, да здравствует», — спросил вина и стоя пил *Царские чаши* вместе с Московскими сановниками и Датскими Послами. Одним словом, Иоанн хотел любви Борисовой и любви Россиян. Салтыков и Власьев писали к Царю о здоровье и веселом нраве Королевича; уведомляли обо всем, что он говорил и делал: даже о нарядах, о цвете его атласных кафтанов, украшенных золотыми или серебряными кружевами! Царь требовал сих подробностей — и высылал новые дары путешественнику: богатые ткани Азиатские, шапки, низанные жемчугом, поясы и кушаки драгоценные, золотые цепи, сабли с бирюзою и с яхонтами. Наконец Иоанн изъявил нетерпение быть в Москве: ему ответствовали, что Государь боялся спешною ездою утомить его — и поехали скорее. 18 Сентября ночевали в Тушине, а 19 приблизились к столице.

Не только воины и люди сановные, от членов Синклита до приказных Дьяков, но и граждане встретили Герцога в поле. Выслушав ласковую речь Бояр, он сел на коня и ехал Москвою при звуке огромного Кремлевского колокола с Датскими и Российскими чиновниками. Ему отвели в Китае-городе лучший дом — и на другой день прислали обед Царский: сто тяжелых золотых блюд с яствами, множество кубков и чаш с винами и медами. 28 Сентября было торжественное представление. От дому Иоаннова до Красного крыльца стояли богато одетые воины; на площади Кремлевской граждане, Немцы, Литва, также в лучшем наряде. У крыльца встретили Иоанна Князя Трубецкой и Черкасский, на лестнице Василий Шуйский и Голицын, в сенях первый Вельможа Мстиславский с Окольничими и Дьяками. Царь и Царевич были в золотой палате, в бархатных порфирах, унизанных крупным жемчугом; в их коронах и на груди сияли алмазы и яхонты величины необыкновенной. Увидев Герцога, Борис и Феодор встали, обняли его с нежностью, сели с ним рядом и долго беседовали в присутствии Вельмож и Царедворцев. Все смотрели на юного Иоанна с любовью, пленяясь его красотой: Борис уже видел в нем будущего сына. Обедали в Грановитой палате: Царь сидел на золотом троне, за серебряным столом, под висящею над ним короною с боевыми часами между Феодором и Герцогом, уже причисленным к их семейству. Угощение заключилось дарами: Борис и Феодор сняли с себя алмазные цепи и надели на шею Иоанну; а царедворцы поднесли ему два ковша золотые, украшенные яхонтами, несколько серебряных сосудов, драгоценных тканей, Английских сукон, Сибирских мехов и три одежды Русские. Но жених не видал Ксении, веря только слуху о прелестях ее, любезных свойствах, достоинствах, и не обманываясь. Современники пишут, что она была среднего роста, полна телом и стройна; имела белизну *млечную*, волосы черные, густые и длинные, *трубами лежащие* на плечах, — лицо свежее, румяное, брови союзные, глаза большие, черные, светлые, красоты несказанной, особенно, когда блистали в них слезы умиления и жалости; не менее пленяла и душою, кротостию, *благоречием*, умом и вкусом образованным, любя книги и сладкие песни духовные. Строгий обычай не позволял показывать и *такой* невесты прежде времени; сама же Ксения и Царица могли видеть Иоанна скрытно, издали, как думали его спутники. Обручение и свадьбу отложили до зимы, готовясь к тому, вместо пиров, молитвою: родители, невеста и брат ее поехали в Лавру Троицкую... О сем пышном выезде Царского семейства очевидцы говорят так:

«Впереди 600 всадников и 25 заводных коней, блистающих убранством, серебром и золотом; за ними две кареты: пустая Царевичева, обитая алым сукном, и другая, обитая бархатом, где сидел Государь: обе в 6 лошадей; первую окружали всадники, вторую пешие Царедворцы. Далее ехал верхом юный Феодор; коня его вели знатные чиновники. Позади Бояре и придворные. Многие люди бежали за Царем, держа на голове бумагу: у них взяли сии челобитные и вложили в красный ящик, чтобы представить Государю. Через полчаса выехала Царица в великолепной карете; в другой, со всех сторон закрытой, сидела Царевна: первую везли десять белых коней, вторую восемь. Впереди 40 заводных лошадей и дружина всадников, мужей престарелых, с длинными седыми бородами; сзади 24 Боярыни на белых конях. Вокруг шли 300 Приставов с жезлами». — Там, в обители тишины и святости, Борис с супругою и с детьми девять дней молился над гробом Св. Сергия, да благословит Небо союз Ксении с Иоанном.

Между тем жениха ежедневно честили Царскими обедами в его доме; присылали ему бархаты, объяри, кружева *для Русской одежды*, прислали и богатую постелю, белье, шитое серебром и золотом. Он с ревностью хотел учиться нашему языку и даже переменить Веру, как пишут, чтобы исповедовать одну с будущею супругою; вообще вел себя благоразумно и всем нравился любезностию в обхождении. Но чего искренно желали и Россияне и Датчане — о чем молились родители и невеста — то не было угодно Провидению... На возвратном пути из Лавры, 16 Октября, в селе Братовщине Государь узнал о незапной болезни жениха. Иоанн еще мог писать к нему и прислал своего чиновника, чтобы его успокоить. Недуг усиливался беспрестанно: открылась жестокая горячка; но медики, Датские и Борисовы, не теряли надежды: Царь заклинал их употребить все искусство, обещая им неслыханные милости и награды. 19 Октября посетил Иоанна юный Феодор, 27 сам Государь вместе с Патриархом и Боярами; увидел его слабого, безгласного; ужаснулся и с гневом винил тех, которые таили от него опасность. На другой день, ввечеру, он нашел Герцога уже при смерти; плакал, крушился; говорил: «Юноша несчастный! Ты оставил мать, родных, отечество и приехал ко мне, чтобы умереть безвременно!» Еще желая надеяться, Государь дал клятву освободить 4000 узников в случае Иоаннова выздоровления и просил Датчан молиться Богу с усердием. Но в 6 часов сего же вечера, 28 Октября, пресекулись цветущие дни Иоанновы на двадцатом году жизни... Не только семейство Царское, Датчане, Немцы, но и весь двор, все жители столицы были в горести. Сам Борис пришел к Ксении и сказал ей:

«любезная дочь! твоё счастье и моё утешение погибло!» Она упала без чувства к ногам его... Велели оказать всю должную честь умершему. Отворили казну Царскую для бедных вдов и сирот; питали нищих в доме, где скончался Иоанн; к телу приставили знатных чиновников; запретили его анатомить и вложили в деревянную гробницу, наполненную ароматами, а после в медную, и ещё в дубовую, обитую черным бархатом и серебром, с изображением креста в середине и с латинскою надписью о достоинствах умершего, о благоволении к нему Царя и народа Российского, об их печали неутешной. В день погребения, 25 Ноября, Борис простился с телом, обливаясь слезами, и ехал за ним в санях Китаем-городом до Белого. Гроб везли на колеснице, под тремя черными знаменами, с гербом Дании, Мекленбургским и Голштейнским; на обеих сторонах шли воины Царской дружины, опутив вниз острие своих копий; за колесницею Бояре, сановники и граждане — до слободы Немецкой, где в новой церкви Аугсбургского исповедания схоронили тело Иоанново в присутствии Московских Вельмож, которые плакали вместе с Датчанами, хотя и не разумели умилительной надгробной речи, в коей Герцогов Пастор благодарил их за сию чувствительность...

Вероятно ли сказание нашего Летописца, что Борис внутренно не жалел о смерти Иоанна, будто бы завидуя общей к нему любви Россиян и страшая оставить в нем совместника для юного Феодора; что медики, узнав тайную мысль Царя, не смели излечить больного? Но Царь хотел, чтобы Россияне любили его нареченного зятя: для того советовал ему быть приветливым и следовать нашим обычаям; хотел без сомнения и счастья Ксении; давал сим браком новый блеск, новую твердость своему дому, и не мог переменить мыслей в три недели: утрашиться, чего желал; видеть, чего не предвидел, и вверить столь гнусную тайну зла придворным врачам-иноземцам, коих он, по смерти Иоанновой, долго не пускал к себе на глаза, и которые лечили Герцога вместе с его собственными, Датскими врачами. Свидетели сей болезни, чиновники Христианова двора, издали в свет её верное описание, доказывая, что все способы искусства, хотя и без успеха, были употреблены для спасения Иоаннова. Нет, Борис крушился тогда без лицемерия и чувствовал, может быть, казнь Небесную в совести, готовив счастье для милой дочери и видя её вдовою в невестах; отвергнул украшения Царские, надел ризу печали и долго изъяснял глубокое уныние... Все, чем дарили Герцога, было послано в Копенгаген; всех Иоанновых спутников отпустили туда с новыми щедрыми дарами; не забыли и последнего из служителей. Борис писал

к Христиану, что Россия остается в неразрывном дружестве с Даниею; оно действительно не разорвалось, как бы утверждаемое для обоих Государств печальным воспоминанием о судьбе юного Герцога, коего тело было перевезено в Рошильд, долго лежав под сводом Московской Лютеранской церкви. В честь Иоанновой памяти Борис дал колокола сей церкви и дозволил звонить в них по дням Воскресным.

Но печаль не мешала Борису ни заниматься делами государственными с обыкновенною ревностию, ни думать о другом женихе для Ксении: около 1604 года Послы наши снова были в Дании и содействием Христиановым условились с Герцогом Шлезвигским Иоанном, чтобы один из его сыновей, Филипп, ехал в Москву жениться на Царевне и быть там Удельным Князем. Сие условие не исполнилось единственно от тогдашних бедственных обстоятельств нашего отечества.

Сношения России с Австриею были, как и в Феодорово время, весьма дружелюбны и не бесплодны. Думный Дьяк Власьев (в Июне 1599 года), посланный к Императору с известием о Борисовом воцарении, сел на Лондонский корабль в устье Двины и вышел на берег в Германии: там, в Любеке и в Гамбурге, знатнейшие граждане встретили его с великою ласкою, с пушечною стрельбою и музыкою, славя уже известную милость Борисову к Немцам и надеясь пользоваться новыми выгодами торговли в России. Рудольф, изгнанный моровым поветрием из Праги, жил тогда в Пильзене, где Власьев имел переговоры с Австрийскими Министрами, уверяя их, что наше войско уже шло на Турков, но что Сигизмунд заградил оному в Литовских владениях путь к Дунаю; что Царь, как истинный брат Христианских Монархов и вечный недруг Оттоманов, убеждает Шаха и многих иных *Князей азийских* действовать усильно против Султана и готов самолично идти на Крымцев, если они будут помогать Туркам; что мы непрестанно внушаем Литовским Панам утвердить союз с Императором и с нами возведением Максимилиана на трон Ягеллонов; что миролюбивый Борис не усомнится даже и воевать для достижения сей цели, если Император когда-нибудь решится отмстить Сигизмунду за бесчестие своего брата. Рудольф изъявил благодарность, но требовал от нас не людей, а золота для войны с Магометом III, желая только, чтобы мы смирили Хана. «Император, — говорили его Министры, — любя Царя, не хочет, чтобы он подвергал себя опасности *личной* в битвах с варварами: у вас много Воевод мужественных, которые легко могут и без Царя унять Крымцев: вот главное дело! Если угодно Небу, то корона Польская, при добром содействии великодушного Царя, не

уйдет от Максимилиана; но теперь не время умножать число врагов». И мы, конечно, не думали действовать мечем для возведения Максимилиана на трон Польский: ибо Сигизмунд, уже враг Швеции, был для нас не опаснее Австрийского Князя в венце Ягеллонов: не думали, вопреки уверениям Власьева, ратоборствовать и с Султаном без необходимости: но предвидя оную — зная, что Магомет злобится на Россию и действительно велит Хану опустошать ее владения — Борис усердно доброхотствовал Австрии в войне с сим недругом Христианства. От 1598 до 1604 года были у нас разные Австрийские чиновники и знатный Посол Барон Логау; а Думный Дьяк Власьев вторично ездил к Императору в 1603 году. Не имеем сведений об их переговорах; известно только, что Царь вспомогал казною Рудольфу, удерживал Казы-Гирея от новых впадений в Венгрию и старался утвердить дружество между Императором и Шахом Персидским, к которому ездили Австрийские Посланники чрез Москву и который славно мужествовал тогда против Оттоманов. Но знаменитый Аббас, ласково поздравив Бориса Царем, изъявляя готовность заключить с ним тесный союз, а для него и с Императором — отправив (в 1600 году) Посланника Исеналея чрез Колмогоры в Австрию, в Рим, к Королю Испанскому — и в знак особенной любви прислав к своему *брату Московскому* с Вельможею Лачин-Бекем (в Августе 1603 года) *златой трон древних Государей Персидских*, вдруг оказался нашим недругом за бедную Грузию: не спорив с Феодором, не споря с Борисом о праве именоваться ее Верховным Государем, хотел также бесспорно властвовать над нею и стиснул ее, как слабую жертву, в своих руках кровавых.

Царь Александр не престававал жаловаться в Москве на бедственную долю Иверии. Послы его так говорили Боярам: «Мы плакали от неверных и для того отдалися головами Царю православному, да защитит нас; но плачем и ныне. Наши дома, церкви и монастыри в развалинах, семейства в плену, рамена под игом. То ли вы нам обещали? И неверные смеются над Христианами, спрашивая: где же щит Царя Белого? где ваш заступник?» Борис велел напомнить им о походе Князя Хворостинина, с коим должно было соединиться их войско и не соединилось; однако ж послал в Иверию [в 1601 г.] двух сановников, Нащокина и Леонтьева, узнать все обстоятельства на месте и с Терскими Воеводами условиться в мерах для ее защиты. Там сделалась перемена. Во время тяжкой болезни Александровой сын его, Давид, объявил себя Властителем: отец выздоровел, но сын уже не хотел возвратить ему знаков державства: *Царской хоругви, шапки и*

сабли с поясом. Сего мало: он злодейски умертвил всех ближних людей Александровых. Тогда несчастный отец, прибежав раздетый и босой в церковь, рыдая, захлипаясь от слез, всенародно предал сына анафеме и гневу Божию, который действительно постиг изверга: Давид в внезапной, мучительной болезни испустил дух, и Посланники наши возвратились с известием, что Александр снова Царствует в Иверии, но не достоин милости Государевой, будучи усердным рабом Султана и дерзая укорять Бориса алчностью к дарам. «Мне ли, — сказал Царь с негодованием, — мне ли прельщаться дарами нищих, когда могу всю Иверию *наполнить серебром и засыпать золотом?* » Он не хотел было видеть нового Посла Иверского, Архимандрита Кирилла; но сей умный старец ясно доказал, что Нащокин и Леонтьев оклеветали Александра; сделал еще более: умолил Государя не казнить их и дал ему мысль для будущего верного соединения Грузии с Россиею, построить каменную крепость в Тарках, месте неприступном, изобильном и красивом — другую на Тузлуке, где большое озеро соляное, много серы и селитры — а третью на реке Буйнаке, где некогда существовал город, будто бы Александром Македонским основанный и где еще стояли древние башни среди садов виноградных.

Для сего предприятия немаловажного Государь избрал двух знатных Воевод, Окольничих Бутурлина и Плещеева, которые должны были, взяв полки в Казани и в Астрахани, действовать вместе с Терскими Воеводами и ждать к себе вспомогательной рати Иверской, клятвенно обещанной Послом от имени Александра. Не теряли времени и не жалели денег, выдав из казны не менее трехсот тысяч рублей на издержки похода столь отдаленного и трудного. Войско, довольно многочисленное, выступило с берегов Терека (в 1604 году) к Каспийскому морю и видело единственно тыл неприятеля. Шавкал, уже старец ветхий, лишенный зрения, бежал в ущелья Кавказа, и Россияне заняли Тарки. Нельзя было найти лучшего места для строения крепости: с трех сторон высокие скалы могли служить ей вместо твердых стен; надлежало укрепить только отлогий скат к морю, покрытый лесом, садами и нивами; в горах били ключи и наделяли жителей, посредством многих труб, свежою водою. Там, на высоте, где стоял дворец Шавкалов с двумя башнями, Россияне немедленно начали строить стену, имея все для того нужное: лес, камень, известь; назвали Тарки *Новым городом*, заложили крепость и на Тузлуке. Одни работали, другие воевали, до Андрии, или Эндрена, и Теплых вод, не встречая важного сопротивления; пленили людей в селениях, брали хлеб, отгоняли табуны и стада, но боялись недостатка в съестных

припасах: для того в глубокую осень Бутурлин послал тысяч пять воинов зимовать в Астрахань; к счастью, они шли бережно: ибо сыновья Шавкаловы и Кумыки ждали их в пустынях, напали смело, сражались мужественно, целый день, а ночью бежали, оставив на месте 3000 убитых. О сем кровопролитном деле писали Воеводы в Москву и к Царю Иверскому, ожидая его войска по крайней мере к весне, чтобы очистить все горы от неприятеля, совершенно овладеть Дагестаном и беспрепятственно строить в нем новые крепости. Но не было слуха о вспомогательной рати, ни вестей из несчастной Грузии. Александр уже не обманывал России: он погиб, и за нас!

Государь, отпустив Кирилла (в Маие 1604) из Москвы, вместе с ним послал Дворянина *Ближней Думы* Михайла Татищева, во-первых, для утверждения Грузии в нашем подданстве, во-вторых, и для семейственного дела, еще тайного. Сей сановник (в Августе 1604) не нашел Царя в Загеме: Александр был у Шаха, который строго велел ему явиться с войском в стан Персидский, не взирая на имя Российского данника и не страшась оскорбить тем друга своего, Бориса. Сын Александров, Юрий, принял Татищева не только ласково, но и раболепно; славил величие Московского Царя и плакал о бедном отечестве. «Никогда (говорил он) Иверия не бедствовала ужаснее нынешнего: стоим под ножами Султана и Шаха; оба хотят нашей крови и всего, что имеем. Мы отдали себя России: пусть же Россия возьмет нас не словом, а делом! Нет времени медлить: скоро некому будет здесь целовать креста в бесполезной верности к ее Самодержцу. Он мог бы спасти нас. Турки, Персияне, Кумыки силою к нам врываются; а вас зовем добровольно: придите и спасите! Ты видишь Иверию, ее скалы, ущелья, дебри: если поставите здесь твердыни и введете в них войско Русское, то будем истинно ваши, и целы, и не убоимся ни Шаха, ни Султана». Сведая, что Турки идут к Загему, Юрий убеждал Татищева дать ему своих стрельцов для битвы с ними: умный Посол долго колебался, опасаясь без указа Царского как бы объявить войну Султану; наконец решился удостоверить тем Иверию в действительном праве Борисовом именоваться ее Верховным Государем и дал Юрию сорок Московских воинов, которые присоединились к пяти или шести тысячам Грузинских, с доблим Сотником Михайлом Семовским; пошли впереди (7 Октября) и встретили Турков сильным залпом. Сей первый звук нашего оружия в пустынях Иверских изумил неприятеля: густая передовая толпа его вдруг стала реже; он увидел новый строй, новых воинов; узнал Россиян и дрогнул, не зная их малого числа. Юрий с своими ударил мужественно и более гнал, нежели сражался: ибо Турки

бежали не оглядываясь. Казалось, что в сей день воскресла древняя слава Иверии: ее воины взяли четыре хоругви Султанские и множество пленников. В следующий день Юрий одержал победу над хищными Кумыками, явил народу трофеи, уже давно ему неизвестные, и всю честь приписал сподвижникам, горсти Россиян, славя их как Героев.

Наконец Александр возвратился из Персии с сыном Константином, принявшим там Магометанскую Веру, как мы сказали. Аббас, самовластно располагая Ивериею, велел Константину собрать ее людей воинских, всех без остатка, и немедленно идти к Шамахе; дал ему 2000 своих лучших ратников, несколько Ханов и Князей; дал и тайное повеление, отгаданное умным Татищевым, который бесполезно остерегал Александра и Юрия, говоря, что дружина Персидская для них еще опаснее, нежели для Турков; что Константин, изменив Богу Христианскому, может изменить и святым узам родства. Они не смели изъявить подозрения, чтобы не разгневать могущественного Шаха; исполняли его указ, собирали войско и предали себя убийцам. Готовясь ехать на обед к Александру (12 Марта), Татищев вдруг слышит стрельбу во дворце, крик, шум битвы; посылает своего толмача узнать, что делается — и толмач, входя во дворец, видит Персидских воинов с обнаженными саблями, на земле кровь, трупы и две отсеченные головы, лежащие пред Константином: головы отца его и брата! Константин-Мусульманин, уже объявленный Царем Иверии Христианской, приказал к Татищеву, что Александр убит нечаянно, а Юрий достойно, как изменник Шахов и Государя Московского, друг и слуга ненавистных Турков; что сия казнь не переменяет отношений Иверии к России; что он, исполняя волю великого Аббаса, брата и союзника Борисова, готов во всем усердствовать Царю Христианскому. Но Татищев уже сведал истину от Вельмож Грузинских. Долго терпев связь Александрову с Россиею, в надежде на содействие Царя в войне с Оттоманами, Аббас, уже победитель, не захотел более терпеть нашего, хотя и мнимого господства в земле, которая считалась достоянием его предков. Он вразумился в систему политики Борисовой; увидел, что мы, радуясь кровопролитию между им и Султаном, для себя избегаем оною; велел сыну убить отца, будто бы за приверженность к Туркам, но в самом деле за подданство России, дерзкое и безрассудное для несчастного Александра, который исканием дальнего, неверного заступника раздражал двух ближних утеснителей. Будучи только орудием Аббасовой мести и плакав всю ночь пред совершением гнусного отцеубийства, Константин уверял Борисова посла, что Шах не имел в том участия. «Родитель мой (говорил он) сделался жертвою

междоусобия сыновей: несчастье весьма обыкновенное в нашей земле! Сам Александр извел отца своего, убил и брата: я тоже сделал, *не зная, к добру ли, к худу ли* для света. По крайней мере буду верным моему слову и заслужу милость Государя Российского лучше Александра и Юрия; благодарен ему за крепости, основанные им в земле Шавкаловой, и скоро пришло в Москву богатые дары». Татищев хотел не ковров и не тканей, а подданства; требовал от него клятвы в верности к России и доказывал, что Царем Иверии может быть единственно Христианин. Константин отвечал, что до времени останется Мусульманином и подданным Шаховым, но будет защитником Христианства и другом России — прибавив: «где твердый ваш *хребет*, на который мы в случае нужды могли бы опереться?» С сим Татищев должен был выехать из Загема, торжественно объявив, что Борис не уступает Иверии Шаху и что Аббас, самовластно казнив Александра рукою Константина, нарушил счастливое дружество, которое дотеле существовало между Персиею и Россиею. Одним словом, мы лишились Царства: то есть права называть его своим; но Татищев, не выезжая из Грузии, нашел другое Царство для титула Борисова!

Видя юного Феодора уже близкого к совершенному возрасту и снова предложив руку дочери Датскому Принцу, но желая на всякий случай иметь для нее и другого мужа в готовности, Борис искал вдруг и невесты и жениха в отечестве славной Тамари, знаменитой супруги Георгия Андреевича Боголюбского. Посол Александров, Кирилл, хвалил нашим Боярам красоту Иверского Царевича, Давидова сына, Теймураса, и Княжны или Царевны Карталинской, Елены, внуки Симеоновой: Татищеву велено было видеть их; он не нашел Теймураса, отданного Шаху в аманаты, и поехал в Карталинию видеть семейство ее Владетеля. Сия область древней Иверии, менее подверженная набегам Дагестанских Кумыков, представляла и менее развалин, нежели восточная Грузия или Кахетия. Там господствовал отец Еленин, Князь Юрий, после Симеона, взятого в плен Турками: он имел своих Князей присяжников (Сонского и других), многочисленных *Царедворцев*, Бояр и *Святителей*, угостил Татищева в шатрах и с изъявлением благодарности выслушал его предложения: первое, чтобы Юрий поддался России; второе, чтобы отпустил с ним в Москву Елену и ближнего родственника своего, юного Князя Хоздроя, *если* они имеют все достоинства, нужные для чести вступить в семейство Борисово. «Сия честь велика, — сказал усердный Посол: — Император и Короли Шведский, Датский, Французский искали ее ревностно».

Судьба Александрова ужасала Юрия; но Татищев возражал, что сей несчастный погубил себя криводушием, хотел служить вместе Царям верному и неверному, к досаде обоих. «Желая угодить Аббасу (говорил он), Александр не дал нам войска, чтобы истребить Шавкала; оставил сына в Персии и дозволил ему быть Магометанином, то есть острить нож на отца и Христианство; сослал туда и внука, узнав о намерении Государя выдать за него Царевну Ксению: ибо страшился, чтобы Теймурас не взял Грузии в приданое за Царевною; но мог ли великий Царь наш разлучиться с нею для бедного престола Загемского, имея у себя многие знаменитейшие Княжества в удел милому зятю? Александр пал, ибо *не прямил* России и не стоил ее сильного вспоможения». Сорок Московских стрельцов спасли Загем: Татищев обязался немедленно прислать в Карталинию из Терской крепости 150 храбрейших воинов, как передовую дружину, для безопасности будущего свата Борисова — и Юрий с обрядами священными назвал себя Российским данником. Тем более желая родственного союза с Царем, он представил на суд Татищеву жениха и невесту, сказав: «Отдаюсь России и с Царством и с душою. Князь Хоздрой воспитан моею матерью вместе со мною и служит мне правою рукою в делах ратных; когда он в поле, тогда могу быть спокоен дома. Детей у меня двое: сын мое око, а дочь сердце: веселюсь ими и в бедствиях нашего отечества; но не стою за Елену, когда так угодно Богу и Государю Российскому». В донесении Царю о женихе и невесте Татищев пишет: «Хоздрой 23 года от рождения; он высок и строен; лицо у него красиво и чисто, но смугло; глаза светлые карие, нос с горбиною, волосы темнорусые, ус тонкий; бороду уже бреет; в разговорах умен и речист; знает язык Турецкий и грамоту Иверскую; одним словом, хорош, но не отличен; вероятно, что полюбится, но не верно... Елену видел я в шатре у Царицы: она сидела между матерью и бабкою на золотом ковре и жемчужном изголовье, в бархатной одежде с кружевами, в шапке, украшенной камнями драгоценными. Отец велел ей встать, снять с себя верхнюю одежду и шапку: вымерил ее рост деревцом и подал мне сию мерку, чтобы сличить с данною от Государя. Елена прелестна, но не чрезвычайно: бела и еще несколько белится; глаза у нее черные, нос небольшой, волосы *крашенные*, станом пряма, но слишком тонка от молодости: ибо ей только 10 лет; и в лице не довольно полна. Старший брат Еленин гораздо благовиднее». Татищев хотел везти в Москву невесту и жениха, говоря, что перва будет жить до совершенных лет у Царицы Марии, учиться языку и навывать обычаям Русским. Отпустив с ним Хоздроя, Юрий удержал Елену до нового Посольства Царского и

тем избавил себя от слез разлуки бесполезной: ибо Елена уже не нашла бы в Москве своего жениха злосчастливого! Татищев должен был оставить и Хоздроя для его безопасности в земле Сонской, узнав, что случилось в Дагестане, где Турки отмстили нам с лихвою за геройство Московских стрельцов в Иверии и где в несколько дней мы лишились всего, кроме доброго имени воинского!

Отношения России к Константинополю были странны: Турки в Иоанново время без объявления войны приступали к Астрахани, а в Феодорово и к самой Москве под знаменами Крыма; а Цари еще уверяли Султанов в дружелюбии, удивляясь сим неприятельским действиям как ошибке или недоразумению. Утесненный нами Шавкал, тщетно ожидав вспоможения от Аббаса, искал защиты Магомета III, который велел Дербентскому и другим пашам своим в областях Каспийских изгнать Россиян из Дагестана. Турки соединились с Кумыками, Лезгинцами, Аварам и весною в 1605 году подступили к Койсе, где начальствовал Князь Владимир Долгорукий, имея мало воинов: ибо полки, ушедшие зимовать в Астрахань, еще не возвратились. Долгорукий зажег крепость, сел на суда и морем приплыл в городок Терский; а паши осадили Бутурлина в Тарках. Сей Воевода, уже старец летами, славился доблестию: худо ограждаемый стеною, еще недостроенною, он терял много людей, но отразил несколько приступов. Часть стены разрушилась, и каменная башня, подорванная осаждающими, взлетела на воздух с лучшею дружиною Московских стрельцов. Бутурлин еще мужествовал, однако ж видел невозможность спасти город, слушал предложения Султанских чиновников, колебался и наконец, вопреки мнению своих товарищей, решился спасти хотя одно войско. Главный Паша сам был у него в ставке, пировал и клялся ему выпустить Россиян с честью, с доспехами и наделить всеми нужными запасами. Но вероломные Кумыки, дав нашим свободный путь из крепости до степи, вдруг окружили их и начали страшное кровопролитие. Пишут, что добрые Россияне единодушно обрekli себя на славную гибель; бились с неприятелем злым и многочисленным врукопашь, человек с человеком, один с тремя, боясь не смерти, а плена. Из первых, в глазах отца, пал сын главного начальника, Бутурлина, прекрасный юноша; за ним его старец-родитель; также и Воевода Плещеев с двумя сыновьями, Воевода Полев, и все, кроме тяжело уязвленного Князя Владимира Бахтеярова и других немногих, взятых за мертвое неприятелем, но после освобожденных Султаном. Сия битва несчастная, хотя и славная для побежденных, стоила нам от шести до семи тысяч воинов, и на 118 лет

изгладила следы Российского владения в Дагестане.

Татищев возвратился уже в новое Царствование, и Борис, не имев времени узнать о возведении отцеубийцы-Мусульманина на престол Иверии, до конца дней своих был другом Аббасу, как врагу явного, опасного врага нашего, Султана, против коего мы ревностно возбуждали тогда и Азию и Европу.

В самых переговорах с Англиею Борис изъявлял желание, чтобы все Христианские Державы единодушно восстали на Оттоманскую. «Не только Послы Императора и Римские, — писал он к Елисавете, — но и другие иноземные путешественники уверяли нас, что ты будто бы в тесной связи с Султаном: мы дивились и не верили. Нет, ты не будешь никогда дружить злодеям Христианства, и конечно пристанешь к общему союзу Государей Европейских, чтобы унижить высокую руку неверных: цель достойная тебя и всех нас!» Но Елисавета имела в виду только выгоды своего купечества и для того ласкала самолюбие Царя знаками чрезвычайного к нему уважения. Посланника нашего, дворянина Микулина, встретили в Лондоне с необыкновенною честью: в гавани и в крепости стреляли из пушек, когда он (18 сентября 1600) плыл Темзою и ехал городом в Елисаветиной карете, провождаемой тремястами чиновных всадников, алдерманами, купцами в богатом наряде, в золотых цепях. Улицы были тесны для множества зрителей. Знаменитому гостю в одном из лучших домов Лондона служили Королевины люди: Елисавета прислала ему из своей казны блюда, чаши и кубки серебряные. Угадывали и спешили исполнять его желания: но он вел себя умно и скромно: за все благодарил и ничего не требовал. Представление было в Ричмонде (14 Октября): Елисавета встала с места и несколько шагов ступила навстречу посланнику; славила воцарение Бориса, своего *брата сердечного, издавна милостивого к Англичанам*, говорила, что *ежедневно молится о нем Богу*, что имеет друзей между Государями Европейскими, но никого из них не любит столь вседушно, как Самодержца Российского; что одно из ее главных удовольствий есть исполнять его волю. Микулин обедал у Королевы и только один сидел с нею: Лорды и знатные чиновники не садились; она стоя пила *чашу Борисову*. Приглашаемый быть зрителем всего любопытного, Посланник наш видел Рыцарские игры в день восшествия на престол Елизаветы, праздник Орденский Св. Георгия, богослужение в церкви Св. Павла и торжественный въезд Королевы в Лондон ночью, при свете факелов и звуке труб, со всеми перами и Царедворцами, среди бесчисленного множества граждан, исполненных усердия и любви к своей Монархине. Елисавета везде благодарила

Микулина за его присутствие и в ласковых с ним беседах никогда не забывала хвалить Бориса и Россиян. Пленный ее милостями, сей посланник имел случай оказать ей свое усердие. В день ужасный для Лондона (18 Февраля 1601), когда несчастный Эссекс, дерзнув объявить себя мятежником, с пятьюстами преданных ему людей шел овладеть крепостию — когда все улицы, замкнутые цепями, наполнились воинами и гражданами в доспехах — Микулин вместе с верными Англичанами вооружился для спасения Елисаветы, как сама она, утишив бунт, писала к Царю, славя доблесть его сановника. — Одним словом, сие Посольство утвердило личное дружество между Борисом и Королевою. Хотя Елисавета, будучи врагом Испании и Австрии, не могла принять мысли Борисовой о новом Крестовом походе или союзе всех Держав Христианских для изгнания Турков из Европы, но удостоверила его в том, что никогда не мыслила о вспоможении Султану и что ревностно желает успеха Христианскому оружию. Царь имел и другое сомнение: он слышал, что Англия благоприятствует Сигизмунду в войне с Шведским Правителем; но Елисавета старалась доказать ему, что и Вера и политика предписывают ей усердствовать Карлу. Довольный сими объяснениями, Борис дал новую жалованную грамоту Англичанам для свободной, беспошлинной торговли в России, с особенным благоволением приняв Посланника Елисаветина, Ричарда Ли, коего главным делом было уверить Царя в ее дружбе и величать его добродетели. «Вселенная полна славы твоей, — писал к нему Ли, выезжая из России, — ибо ты, сильнейший из Монархов, доволен своим, не желая чужого. Враги хотят быть с тобою в мире от страха, а друзья в союзе от любви и доверенности. Когда бы все Христианские Венценосцы мыслили подобно тебе, тогда бы Царствовала тишина в Европе, и ни Султан, ни Папа не могли бы возмутить ее спокойствия». Узнав, что Борис имеет намерение женить сына, Королева (в 1603 году) предлагала ему руку знатной одиннадцатилетней Англичанки, украшенной редкими прелестями и достоинствами; вызывалась немедленно прислать живописное изображение сей и других красавиц Лондонских и желала, чтобы Царь до того времени не искал другой супруги для юного Феодора. Но Борис хотел прежде знать, кто невеста, и родня ли Королеве, уверяя, что многие великие государи требуют чести соединить браком детей своих с его семейством. Кончина Елисаветы, столь знаменитой в летописях Британских, достопамятной и в нашей истории долговременною приязнию к России, устранила дело о сватовстве, не прервав дружественной связи между Англиею и Царем. Новый Король, Иаков I, не замедлил известить Бориса о

соединении Шотландии с Англиею и писал: «наследовав престол моей тетки, желаю наследовать и твою к ней любовь». Посол Иакова, Фома Смит, (в Октябре 1604) представив Борису в дар великолепную карету и несколько сосудов серебряных, сказал ему, что «Король Английский и Шотландский, сильный воинством, морским и сухопутным, еще сильнейший любовью народною, только одного Московского Венценосца просит о дружбе: ибо все иные Государи Европейские сами ищут в Иакове; что он имеет двоякое право на сию дружбу, требуя оной в память великой Елисаветы и своего незабвенного шурина Датского Герцога Иоанна, коего Царь любил столь нежно и столь горестно оплакал». Борис сказал, что ни с одним из Монархов не был он в такой сердечной любви, как с Елисаветою и что желает навсегда остаться другом Англии. Сверх права торговать беспошлинно во всех наших городах, Иаков требовал свободного пропуска Англичан чрез Россию в Персию, в Индию и в другие восточные земли для отыскания пути в Китай, ближайшего и вернейшего, нежели морем, около мыса Доброй Надежды, к обоюдной пользе Англии и России, изъясняя, что драгоценности, перевозимые купцами из земли в землю, оставляют на пути следы золотые. Бояре удостоверили Посла в неизменной силе милостивых грамот, данных Царем гостям Лондонским, но объявили, что жестокая война пылает на берегах Каспийского моря, что Аббас приступает к Дербенту, Баке и Шамахе; что Царь до времени не может пустить туда Англичан, для их безопасности, С таким ответом Смит выехал из Москвы (20 Марта 1605). Уже не было речи о государственном союзе Англии с Россиею; одна торговля служила твердою связию между ими, будучи равно выгодною для обеих. Предпочтительно благоприятствуя сей торговле, как важнейшей для России, Борис не усомнился однако ж дать и Немецким гостям права новые. Еще не довольная Феодоровою жалованною грамотою, Ганза прислала в Москву Любского Бургомистра Гермерса, трех Ратсгеров и Секретаря своего, которые (3 Апреля 1603) поднесли в дар Государю и сыну его литые серебряные, вызолоченные изображения Фортуны, Венеры, двух больших орлов, двух коней, льва, единорога, носорога, оленя, страуса, пеликана, грифа и павлина. Купцев приняли как знатнейших Вельмож; угостили обедом на золоте. От имени *пятидесяти девяти* Немецких союзных городов они вручили Боярам *челобитную*, писанную убедительно и смиренно. В ней было сказано, что древность их торговли в нашем отечестве исчисляется не годами, а столетиями; что в самые отдаленные времена, когда Англичане, Голландцы, Французы едва знали имя России, Ганза доставляла ей все

нужное и приятное для жизни гражданской и за то искони пользовалась благоволением *державных предков Царя*, правами и выгодами исключительными: о возвращении сих прав молила Ганза, славя Бориса; желала торговли беспошлинной; хотела, чтобы он дозволил ей свободно купечествовать и в пристанях Северного моря, в Колмогорах, в Архангельске и дал гостиные двory в Новгороде, Пскове, Москве, с правом иметь там церкви, как в старину бывало; требовала ямских лошадей для переезда своих товаров из места в место и проч. Царь сказал, что в России берут таможенную пошлину с купцев Императора, Королей Испанского, Французского, Литовского, Датского; что жители вольных Немецких городов должны платить ее, как и все, но что половина ее, в знак милости, уступается Любчанам, ибо другие Немцы суть подданные разных Властителей, для коих ничто не обязывает нас быть столь бескорыстными; что одни же Любчане избавляются от всякого таможенного осмотра, сами заявляя и ценя свои товары по совести; что Ганзе дозволяется торговать в Архангельске, также купить или завести гостиные двory в Новгороде, Пскове и Москве своим иждивением, а не Государевым; что всякая Вера терпима в России, но строить церквей не дозволяется ни Католикам, ни Лютеранам, и что в сем отказано знатнейшим Венценосцам Европы, Императору, Королеве Елисавете и проч.; что ямы учереждены в России не для купечества, а единственно для гонцов Правительства и для Послов чужеземных. В таком смысле написали жалованную грамоту (5 Июня) с прибавлением, что имение гостей, умирающих в России, неприкосновенно для казны и в целости отдается их наследникам; что Немцы в домах своих могут держать вино Русское, пиво и мед для своего употребления, а продавать единственно чужеземные вина, в куфах или в бочках, но не ведрами и не в стопы. С сею жалованною грамотою Послы выехали в Новгород, представили ее там Воеводе Князю Буйносову-Ростовскому и требовали места для строения домов и лавок; но Воевода ждал еще особенного указа, и долго, так, что они, лишась терпения, уехали во Псков, где были счастливее: градоначальник немедленно отвел им, на берегу реки Великой, вне города, место старого гостиного двора Немецкого, то есть его развалины, памятник древней цветущей торговли в знаменитой Ольгиной родине. Жители радовались не менее Любчан, вспоминая предания о счастливом союзе их города с Ганзою; но минувшее уже не могло возвратиться, от перемены в отношениях Ганзы к Европе и Пскова к России. Оставив поверенных, чтобы изготовить все нужное для заведения конторы в Новгороде и Пскове, Гермерс и товарищи его спешили обрадовать Любек успехом своего

дела — и в 1604 году корабли Гамбургские уже начали приходить в Архангельск.

Между Европейскими Посольствами заметим еще Римские и Флорентийское. В 1601 году были в Москве нунции Климента VIII, Франциск Коста и Дидак Миранда, а другие в 1603 году, требуя дозволения ехать в Персию: Царь велел им дать суда, чтобы плыть Волгою в Астрахань. Фердинанд, великий Герцог Тосканский и Флорентийский, один из знаменитых Властителей славного рода Медицисов, великодушный друг Генрика IV, присылал к Борису (в Марте 1602) чиновника Авраама Люса с предложением своих услуг для вызова в Россию людей ученых, художников, ремесленников, и для доставления ей богатых естественных произведений Италии, особенно мрамора и дерева драгоценного, морем чрез наши Двинские гавани.

Не имея никакого сношения с Магометом III, ни с его наследником, Ахметом, мы узнавали все происшествия Константинопольские от Греческих Святителей, которые непрестанно являлись в Москве за милостынею, с иконами и с благословением Патриархов. Еще Иоанн дал Афонской Введенской обители двор в Китае-городе у монастыря Богоявленского, где приставали ее странники-Иноки и другие Греки, искавшие службы в России. Известия сих наших ревностных единоверцев о затруднениях и худом внутреннем состоянии Оттоманской Империи удостоверяли Бориса в безопасности с ее стороны, по крайней мере на несколько времени.

Государственная хитрость Борисова, по словам летописца, всего успешнее действовала в ногайских улусах, ослабленных и разоренных междоусобием их Властителей, коих будто бы ссорили Наместники Астраханские. Вопреки летописцу, бумаги государственные представляют Бориса миротворцем Ногаев, по крайней мере главного их Улуса, Волжского, или Уральского, который со времен знаменитого отца Сююнбеки, Юсуфа, имел всегда одного Князя и трех чиновников-властителей: Нурадына, Тайбугу и Кокувата, но тогда повиновался двум Князьям, Иштереку, сыну Тинь-Ахматову, и Янараслану, Урусову сыну, исполненным ненависти друг ко другу. На приказ Борисов, чтобы они жили в любви и в братстве, Янараслан отвечал: «Царь Московский желает чуда: велит овцам дружить с волками и пить воду из одной проруби!» Боярин Семен Годунов, уполномоченный Царем, приехал в Астрахань, собрал там (в Ноябре 1604) Ногайских Вельмож, объявил Иштерека первым или старейшим Князем и взял с него клятвенную грамоту в том, чтобы ему и всему Исмаилову племени служить России и биться с ее врагами до

последнего издыхания, не давать никому Княжеского и Нурадынского достоинства без утверждения Государева, не иметь войны междоусобной, не сноситься с Шахом, Султаном, Ханом Крымским, Царями Бухарским и Хивинским, *Ташкенцами*. Ордою Киргизскою, Шавкалом и Черкесами — кочевать в степях Астраханских у моря, по Тереку, Куме и Волге около Царицына — перезвать к себе Улус Казыев или овладеть им, чтобы от моря Черного до Каспийского и далее, на восток и север, не было в степях иной Орды Ногайской, кроме Иштерековой, верной Царю Московскому. Улус Казыев, отделясь от Волжского и кочуя близ Азова с своим Князем Барангазыем, зависел от Турков и Крымцев, часто искал милости в Царе, обещал служить России, вероломствовал и грабил в ее владениях: чтобы унять или совершенно истребить его, Борис велел Донским Козакам помогать Иштереку, и прислав ему в дар богатую саблю, писал: «она будет или на шее злодеев России или на твоей собственной». Сей Князь исполнил условие и непрестанно теснил Ногаев Азовских, так что многие из них сделались нищими и продавали детей своих в Астрахани. — Третий Ногайский Улус, именуясь *Альтаульским*, занимал степи в окрестностях Синего моря, или Арала, и находился в тесной связи с Бухариєю и с Хивою: Иштерек должен был также склонять его Мурз к подданству Российскому, соединенному с важною выгодною в торговле: Борис, дозволяя верным Ногаям мирно купечествовать в Астрахани, освобождал их от всякой пошлыны.

Представив в сем обозрении важнейшие действия Борисовой политики, Европейской и Азиатской — политики вообще благоразумной, не чуждой властолюбия, но умеренного: более *охранительной*, нежели *стяжательной* представим действия Борисовы внутри Государства, в законодательстве и в гражданском образовании России.

В 1599 году Борис, в знак любви к Патриарху Иову, возобновил жалованную грамоту, данную Иоанном Митрополиту Афанасию, такого содержания, что все люди Первосвященителя, его монастыри, чиновники, слуги и крестьяне их освобождаются от ведомства Царских Бояр, Наместников, волостелей, Тиунов и не судятся ими ни в каких преступлениях, кроме душегубства, завися единственно от суда Патриаршего; увольняются также от всяких податей казенных. Сие древнее государственное право нашего Духовенства оставалось неизменным и в Царствование Василия Шуйского, Михаила и сына его.

Закон об укреплении сельских работников, целию своею благоприятный для владельцев средних или избыточных, как мы

сказали, имел однако ж и для них вредное следствие, частыми побегамися крестьян, особенно из селений мелкого Дворянства: владельцы искали беглецов, жаловались друг на друга в их укрывательстве, судились, разорялись. Зло было столь велико, что Борис, не желая совершенно отменить закона благонамеренного, решился объявить его только временным, и в 1601 году снова дозволил земледельцам господ малочиновных, Детей Боярских и других, везде, кроме одного Московского уезда, переходить в известный срок от владельца к владельцу *того же состояния*, но не всем вдруг и не более, как по два вместе; а крестьянам Бояр, Дворян, знатных Дьяков, и казенным, Святительским, монастырским велел остаться без перехода на означенный 1601 год. Уверяют, что изменение устава древнего и нетвердость нового, возбуждив негодование многих людей, имели влияние и на бедственную судьбу Годунова; но сие любопытное сказание Историков XVIII века не основано на известиях современников, которые единогласно хвалят мудрость Бориса в делах государственных.

Хвалили его также за ревность искоренять грубые пороки народа. Несчастливая страсть к крепким напиткам, более или менее свойственная всем народам северным, долгое время была осуждаема в России единственно учителями Христианства и мнением людей нравственных. Иоанн III и внук его хотели ограничить ее неумеренность законом и наказывали оную как гражданское преступление. Может быть, не столько для умножения Царских доходов, сколько для обуздания невоздержных, Иоанн IV налагал пошлину на варение пива и меда. В Феодорово время существовали в больших городах казенные питейные дома, где продавалось и вино хлебное, неизвестное в Европе до XIV века; но и многие частные люди торговали крепкими напитками, к распространению пьянства: Борис строго запретил сию вольную продажу, объявив, что скорее помилует вора и разбойника, нежели корчемников; убеждал их жить иным способом и честными трудами; обещал дать им земли, если они желают заняться хлебопашеством, но хотел тем, как пишут, воздержать народ от страсти равно вредной и гнусной, Царь не мог истребить корчемства, и самые казенные питейные дома, наперерыв откупаемые за высокую цену, служили местом разврата для людей слабых.

В усердной любви к гражданскому образованию Борис превзошел всех древнейших Венценосцев России, имел намерение завести школы и даже *Университеты*, чтобы учить молодых Россиян языкам Европейским и *Наукам*. в 1600 году он посылал в Германию Немца,

Иоанна Крамера, уполномочив его искать там и привезти в Москву профессоров и докторов. Сия мысль обрадовала в Европе многих ревностных друзей просвещения: один из них, учитель прав, именем Товиа Лонциус, писал к Борису (в Генваре 1601): «Ваше Царское Величество, хотите быть истинным отцом отечества и заслужить всемирную, бессмертную славу. Вы избраны Небом совершить дело великое, новое для России: просветить ум вашего народа несметного и тем возвысить его душу вместе с государственным могуществом, следуя примеру Египта, Греции, Рима и знаменитых Держав Европейских, цветущих искусствами и науками благородными». Сие важное намерение не исполнилось, как пишут, от сильных возражений Духовенства, которое представило Царю, что Россия благоденствует в мире единством Закона и языка; что разность языков может произвести и разность в мыслях, опасную для церкви; что во всяком случае неблагоприятно верить учение юношества Католикам и Лютеранам. Но оставив мысль заводить *Университеты* в России, Царь послал 18 молодых *Боярских людей* в Лондон, в Любек и во Францию, учиться языкам иноземным так же, как молодые Англичане и Французы ездили тогда в Москву учиться Русскому. Умом естественным поняв великую истину, что народное образование есть сила государственная и, видя несомнительное в оном превосходство других Европейцев, он звал к себе из Англии, Голландии, Германии не только лекарей, художников, ремесленников, но и людей чиновных в службу. Так посланник наш, Микулин, сказал в Лондоне трем путешествующим Баронам Немецким, что если они желают из любопытства видеть Россию, то Царь с удовольствием примет их и с честью отпустит; но если, любя славу, хотят служить ему умом и мечом в деле воинском, наравне с Князьями владетельными, то удивятся его ласке и милости. В 1601 году Борис с отменным благоволением принял в Москве 35 Ливонских Дворян и граждан, изгнанных из отечества Поляками. Они не смели идти во дворец, будучи худо одеты: Царь велел сказать им: «хочу видеть людей, а не платье»; обедал с ними; утешал их и тронул до слез уверением, что будет им вместо отца: Дворян сделает Князьями, мещан Дворянами; дал каждому, сверх богатых тканей и соболей, пристойное жалованье и поместье, не требуя в возмездие ничего, кроме любви, верности и молитвы о благоденствии его дома. Знатнейший из них, Тизенгаузен, клялся именем всех умереть за Бориса, и сии добрые Ливонцы, как видим, не обманули Царя, с ревностию вступив в его Немецкую дружину. Вообще благосклонный к людям ума образованного, он чрезвычайно любил своих иноземных медиков, ежедневно виделся с

ними, разговаривал о делах государственных, о вере; часто просил их за него молиться, и только в удовольствие им согласился на возобновление Лютеранской церкви в слободе Яузской. Пастор сей церкви, Мартин Бер, коему мы обязаны любопытною историею времен Годунова и следующих, пишет: «Мирно слушая учение Христианское и торжественно славословя Всевышнего по обрядам Веры своей, Немцы Московские плакали от радости, что дожили до такого счастья!»

Признательность иноземцев к милостям Царя не осталась бесплодною для его славы: муж ученый, Фидлер, житель Кенигсбергский (брат одного из Борисовых медиков) сочинил ему в 1602 году на Латинском языке похвальное слово, которое читала Европа и в коем оратор уподобляет своего Героя Нуме, превознося в нем законодательную мудрость, миролюбие и *чистоту нравов*. Сию последнюю хвалу действительно заслуживал Борис, ревностный наблюдатель всех уставов церковных и правил благочиния, трезвый, воздержный, трудолюбивый, враг забав суетных и пример в жизни семейственной, супруг, родитель нежный, особенно к милому ненаглядному сыну, которого он любил до слабости, ласкал непрестанно, называл своим велителем, не пускал никуда от себя, воспитывал с отменным старанием, даже учил наукам: любопытным памятником географических сведений сего Царевича осталась ландкарта России, изданная под его именем в 1614 году Немцем Герардом. Готовя в сыне достойного Монарха для великой державы и заблаговременно приучая всех любить Феодора, Борис в делах внешних и внутренних давал ему право ходатая, заступника, умирителя; ждал его слова, чтобы оказать милость и снисхождение, действуя и в сем случае без сомнения как искусный Политик, но еще более как страстный отец, и своим семейственным счастьем доказывая, сколь неизъяснимо слияние добра и зла в сердце человеческом!

Но время приближалось, когда сей мудрый Властитель, достойно славимый тогда в Европе за свою разумную Политику, любовь к просвещению, ревность быть истинным отцом отечества, — наконец за благонравие в жизни общественной и семейственной, должен был вкусить горький плод беззакония и сделаться одною из удивительных жертв суда Небесного. Предтечами были внутреннее беспокойство Борисова сердца и разные бедственные случаи, коим он еще усиленно противоборствовал твердостью духа, чтобы вдруг оказать себя слабым и как бы беспомощным в последнем явлении своей судьбы чудесной.

Глава II

Продолжение царствования Борисова. 1600—1605 г.

Блестящее властвование Годунова. Молитва о Царе. Подозрения Борисовы. Гонения. Голод. Новые здания в Кремле. Разбои. Порочные нравы. Мнимые чудеса. Явление Самозванца. Поведение и наружность обманщика. Иезуиты. Свидание Лжедмитрия с Королем Польским. Письмо к Папе. Собрание войска, договоры Лжедмитрия с Мнишком. Меры, взятые Борисом. Первая измена. Витязь Басманов. Робость Годунова. Общее расположение умов. Великодушие Борисово. Битва. Поляки оставляют Самозванца. Честь Басманову. Победа Воевод Борисовых. Осада Кром. Письмо Самозванца к Борису. Кончина Годунова.

Достигнув цели, возникнув из ничтожности рабской до высоты Самодержца усилиями неумолимыми, хитростию неусыпную, коварством, происками, злодейством, наслаждался ли Годунов в полной мере своим величием, коего алкала душа его — величием, купленным столь дорогой ценою? Наслаждался ли и чистейшим удовольствием души, благотворя подданным и тем заслуживая любовь отечества? По крайней мере недолго.

Первые два года сего Царствования казались лучшим временем России с XV века или с ее восстановления: она была на высшей степени своего нового могущества, безопасная собственными силами и счастьем внешних обстоятельств, а внутри управляемая с мудрою твердостью и с кротостью необыкновенною. Борис исполнял обет царского венчания и справедливо хотел именоваться отцом народа, уменьшив его тягости; отцом сирых и бедных, изливая на них щедроты беспримерные; другом человечества, не касаясь жизни людей, не обагрывая земли Русской ни каплею крови и наказывая преступников только ссылкой. Купечество, менее стесняемое в торговле; войско, в мирной тишине осыпавшее наградами; Дворяне, приказные люди, знаками милости отличающиеся за ревностную службу; Синклит, уважаемый Царем деятельным и советолубивым; Духовенство, честимое Царем набожным — одним словом, все государственные состояния могли быть довольны за себя и еще довольнее за отечество, видя, как Борис в Европе и в Азии возвеличил имя России без кровопролития и без тягостного напряжения сил ее; как радеет о благе общем, правосудии, устройстве. И так не удивительно, что Россия, по сказанию современников, любила своего Венценосца, желая забыть

убиение Димитрия или сомневаясь в оном!

Но Венценовец знал свою тайну и не имел утешения верить любви народной; благотворя России, скоро начал удаляться от Россиян; отменил устав времен древних: не хотел, в известные дни и часы, выходить к народу, выслушивать его жалобы и собственными руками принимать челобитные; являлся редко и только в пышности недоступной. Но убегая людей — как бы для того, чтобы лицом Монарха не напомнить им лицо бывшего раба Иоаннова — он хотел невидимо присутствовать в их жилищах или в мыслях, и недовольный обыкновенною молитвою в храмах о Государе и Государстве, велел искусным книжникам составить особенную для чтения во всей России, во всех домах, *на трапезах и вечерях, за чашами*, о душевном спасении и телесном здравии «Слуги Божия, Царя Всевышним избранного и превознесенного, Самодержца всей Восточной страны и Северной; о Царице и детях их; о благоденствии и тишине отечества и Церкви под скиптром единого Христианского Венценовца в мире, чтобы все иные властители пред ним уклонялись и *рабски служили* ему, величая имя его от моря до моря и до конца вселенныя; чтобы Россияне всегда с умилением славилы Бога за такого Монарха, коего ум есть пучина мудрости, а сердце исполнено любви и долготерпения; чтобы все земли трепетали меча нашего, а земля Русская непрестанно высилась и расширялась; чтобы юные, цветущие ветви Борисова Дому возрасли благословением Небесным и непрерывно осенили оную до скончания веков!» То есть, святое действие души человеческой, ее таинственное сношение с Небом, Борис дерзнул осквернить своим тщеславием и лицемерием, заставив народ свидетельствовать пред Оком Всевидящим о добродетелях убийцы, губителя и хищника!.. Но Годунов, как бы не страшась Бога, тем более страшился людей, и еще до ударов Судьбы, до измен счастья и подданных, еще спокойный на престоле, искренно славимый, искренно любимый, уже не знал мира душевного; уже чувствовал, что если путем беззакония можно достигнуть величия, то величие и блаженство, самое земное, не одно знаменуют.

Сие внутреннее беспокойство души, неизбежное для преступника, обнаружилось в Царе несчастными действиями подозрения, которое, тревожа его, скоро встревожило и Россию. Мы видели, что он, касаясь рукою венца Мономахова, уже мечтал о тайных ковах против себя, яде, чародействе; ибо естественно думал, что и другие, подобно ему, могли иметь жажду к верховной власти, лицемерие и дерзость. Нескромно открыв боязнь свою, и взяв с Россиян клятву постыдную, Борис столь

же естественно не доверял ей: хотел быть на страже неусыпной, все видеть и слышать, чтобы предупредить злые умыслы; восстановил для того бедственную Иоаннову систему доносов и вверил судьбу граждан, Дворянства, Вельмож сонму гнусных изветников.

Первою знаменитою жертвою подозрения и доносов был тот, с кем Годунов жил некогда душа в душу, кто охотно делил с ним милость Иоаннову и страдал за него при Феодоре — свойственник Царицы Марии, Бельский. Спасенный Годуновым от злобы народной во время Московского мятежа, но оставленный надолго в честной ссылке, — снова призванный ко двору, но без всякого отличия, и в самое Царствование Бориса удостоенный только второстепенного думного сана, сей главный любимец Грозного, считая себя благодетелем Годунова, мог быть или казаться недовольным, следственно виновным в глазах Царя, имея еще и другую, важнейшую вину за собою: он знал лучше иных глубину Борисова сердца! В 1600 году Царь послал его в дикую степь строить новую крепость Борисов на берегу Донца Северского, без сомнения не в знак милости; но Бельский, стыдясь представлять лицо уничиженного, ехал в отдаленные пустыни как на знатнейшее Воеводство, с необыкновенною пышностию, с богатою казною и множеством слуг; велел заложить город своим, а не Царским людям; ежедневно угощал стрельцов и Козаков, давал им одежду и деньги, не требуя ничего от государя. Следствием было то, что новую крепость построили скорее и лучше всех других крепостей; что делатели не скучали работою, любя, славя начальника; а Царю донесли, что начальник, милостию прельстив воинов, думает объявить себя независимым и говорит: «Борис Царь в Москве, а я Царь в Борисове!» Сию клевету, основанную, вероятно, на тщеславии и каком-нибудь неосторожном слове Бельского, приняли за истину (ибо Годунов желал избавиться от старинного, беспокойного друга) — и решили, что он достоин смерти; но Царь, хвалясь милосердием, велел только взять у него имение и выщипать ему всю длинную, густую бороду, избрав Шотландского хирурга Габриеля для совершения такой новой казни. Бельский снес позор и, заточенный в один из Низовых городов, дожил там до случая отмстить неблагодарному хотя в могиле. Умный, опытный в делах государственных, сей преемник Малюты Скуратова был ненавистен Россиянам страшными воспоминаниями своих дней счастливых, а иноземцам своею жестокою к ним неприязнию, которою он мог гневить и Бориса, их ревностного покровителя. Мало жалели о старом, безродном временщике; но его опала предшествовала другой, гораздо чувствительнейшей для знатных родов и для всего отечества.

Память добродетельной Анастасии и свойство Романовых-Юрьевых с Царским домом Мономаховой крови были для них правом на общее уважение и самую любовь народа. Боярин Никита Романович, достойный сей любви и личными благородными качествами, оставил 5 сыновей: Федора, Александра, Михайла, Ивана и Василия, в последний час жизни молив Годунова быть им вместо отца. Честя их наружно — дав старшим, Федору и Александру, Боярство, Михайлу сан Окольничего, и женив своего ближнего, Ивана Ивановича Годунова, на их меньшей сестре, Ирине — Борис внутренно опасался Романовых, как совместников для его юного сына: ибо носилась молва, что Феодор, за несколько времени до кончины, мыслил объявить старшего из них наследником Государства: молва, вероятно, несправедливая; но они, будучи единокровными Анастасии и двоюродными братьями Феодора, казались народу ближайшими к престолу. Сего было достаточно для злобы Борисовой, усиленной наказами родственников Царских; но гонение требовало предлога, если не для успокоения совести, то для мнимой безопасности гонителя, чтобы личиною закона прикрыть злодейство, как иногда поступал Грозный и сам Борис, избавляя себя от ненавистных ему людей в Феодорово время. Надежнейшими изветниками считались тогда рабы: желая ободрить их в сем предательстве, Царь не устыдился явно наградить одного из слуг Боярина Князя Федора Шестунова за ложный донос на господина в недобротстве к Венценовцу: Шестунова еще не тронули, но всенародно, на площади, сказали клеветнику *милостивое слово Государево*, дали вольность, чин и поместье. Между тем шептали слугам Романовых, что их за такое же усердие ждет еще важнейшая милость Царская; и главный клевет новоявленного тиранства, новый Малюта Скуратов, Вельможа Семен Годунов, изобрел способ уличить невинных в злодействе, надеясь на общее легковерие и невежество: подкупил казначея Романовых, дал ему мешки, наполненные кореньями, велел спрятать в кладовой у Боярина Александра Никитича и донести на своих господ, что они, тайно занимаясь составом яда, умышляют на жизнь Венценовца. Вдруг сделалась в Москве тревога: Синклит и все знатные чиновники спешат к Патриарху; посылают окольничего Михайла Салтыкова для обыска в кладовой у Боярина Александра; находят там мешки, несут к Иову и в присутствии Романовых высыпают коренья, будто бы волшебные, изготовленные для отравления Царя. Все в ужасе — и Вельможи, усердные подобно Римским Сенаторам Тибериева или Неронова времени, с воплем кидаются на мнимых злодеев, как дикие звери на

агнцев, — грозно требуют ответа и не слушают его в шуме. Отдают Романовых под крепкую стражу и велют судить, как судят беззаконие.

Сие дело есть одно из гнуснейших Борисова ожесточения и бесстыдства. Не только Романовым, но и всем их ближним надлежало погибнуть, чтобы не осталось мстителей на земле за невинных страдальцев. Взяли Князей Черкасских, Шестуновых, Репниных, Карповых, Сицких: знатнейшего из последних, Князя Ивана Васильевича, Наместника Астраханского, привезли в Москву скованного с женою и сыном. Допрашивали, ужасали пыткой, особенно Романовых; мучили, терзали слуг их, безжалостно и бесполезно: никто не утешил тирана клеветою на самого себя или на других; верные рабы умирали в муках, свидетельствуя единственно о невинности господ своих пред Царем и Богом. Но судии не дерзали сомневаться в истине преступления, столь грубо вымышленного, и прославили неслыханное милосердие Царя, когда он велел им осудить Романовых, со всеми их ближними, единственно на заточение, как уличенных в измене и в злодейском намерении извести Государя средствами волшебства. В июне 1601 года исполнился *приговор Боярский* : Федора Никитича Романова (будущего знаменитого Иерарха), постриженного и названного Филаретом, сослали в Сийскую Антониеву Обитель; супругу его, Ксению Ивановну, также постриженную и названную Марфою, в один из заонежских погостов; тещу Федорову, Дворянку *Шестову* , в Чебоксары, в Никольский Девичий монастырь; Александра Никитича в Усолье-Луду, к Белому морю; третьего Романова, Михайла, в Великую Пермь, в Ныробскую волость; четвертого, Ивана, в Нелым; пятого, Василья, в Яренск; зятя их, Князя Бориса Черкасского, с женою и с детьми ее брата, Федора Никитича, с шестилетним Михаилом (будущим Царем!) и с юною дочерью, на Белоозеро, сына Борисова, Князя Ивана, в Малмыж на Вятку; Князя Ивана Васильевича Сицкого в Кожеозерский монастырь, а жену его в пустыню Сумского острога; других Сицких, Федора и Владимира Шестуновых, Карповых и Князей Репниных в темницы разных городов: одного же из последних, Воеводу Яренского, будто бы за расхищение Царского достояния, в Уфу. Вотчины и поместья опальных раздали другим; имение движимое и дома взяли в казну.

Но гонение не кончилось ссылкой и лишением собственности: не веря усердию или строгости местных начальников, послали с несчастными Московских приставов, коим надлежало смотреть за ними неусыпно, давать им нужное для жизни и доносить Царю о каждом их слове значительном. Никто не смел взглянуть на оглашенных

изменников , ни ходить близ уединенных домов, где они жили, вне городов и селений, вдали от больших дорог; некоторые в землянках, и даже скованные. В монастырь Сийский не пускали богомольцев, чтобы кто-нибудь из них не доставил письма Федору Никитичу, Иноку невольному, но ревностному в благочестии: коварный пристав, с умыслом заговаривая ему о дворе, семействе и друзьях его, доносил Царю. что Филарет не находит между Боярами и Вельможами ни одного весьма умного, способного к делам государственным, кроме опального Богдана Бельского, и считает себя жертвою их злобных наветов; что хотя занимается единственно спасением души, но тоскует о жене и детях, не зная, где они без него сиротствуют, и моля Бога о скором конце их бедственной жизни (Бог не услышал сей молитвы, ко счастью России!). Донесли также Царю, что Василий Романов, отягченный болезнью и цепями, не хотел однажды славить милосердия Борисова, сказав Приставу: «истинная добродетель не знает тщеславия». Но Борис, как бы желая доказать узнику истину своего милосердия, велел снять с него цепи, объявить за них Царский гнев приставу, излишно ревностному в угнетении опальных, перевезти недужного Василия в Пелым к брату Ивану Никитичу, лишенному движения в руке и ноге от удара, и дать им печальное утешение страдать вместе. Василий от долговременной болезни скончался (15 февраля 1602) под молитвою брата и великодушного раба, который, верно служив господину в чести, служил ему и в оковах с усердием нежного сына. Александр и Михайло Никитичи также недолго жили в темнице, быв жертвою горести или насильственной смерти, как пишут: первого схоронили в Луде, второго в семи верстах от Чердыня, близ села Ныроба, в месте пустынном, где над могилою выросли два кедра. Доныне в церкви Ныробской хранятся Михайловы тяжкие оковы, и старцы еще рассказывают там о великодушном терпении, о чудесной силе и крепости сего мужа, о любви к нему всех жителей, коих дети приходили к его темнице играть на свирелях, и сквозь отверстия землянки подавали узнику все лучшее, что имели, для утоления голода и жажды: любовь, за которую их гнали при Годунове и наградили в Царствование Романовых милостивою, обельною грамотою. — Если верить Летописцу, то Борис, велел удавить в монастыре Князя Ивана Сицкого с женою, хотел уморить голодом и недужного Ивана Романова; но бумаги приказные свидетельствуют, что последний имел весьма не бедное содержание, ежедневно два или три блюда, мясо, рыбу, белый хлеб, и что у пристава еще было 90 (450 нынешних серебряных) рублей в казне, для доставления ему нужного. Скоро участь опальных

смягчилась, от политики ли Царя (ибо народ жалел об них), или от ходатайства зятя Романовых, Крайчего Ивана Ивановича Годунова. В Марте 1602 Царь *милостиво указал* Ивану Романову (оставляя его под надзором, но уже без имени *злодея*) ехать в Уфу *на службу*, оттуда в Нижний Новгород, и наконец в Москву, вместе с племянником, Князем Иваном Черкасским; Сицких послал Воеводствовать в города Низовские (освободил ли Шестуновых и Репниных, неизвестно); а Княгине Черкасской, Марфе Никитишне, овдовевшей на Белеозере, велел жить с невесткою, сестрою и детьми Федора Никитича, в отчине Романовых Юрьевского уезда, в селе Клине, где, лишенный отца и матери, но блюдомый Провидением, дожил семилетний отрок Михаил, грядущий Венценосец России, до гибели Борисова племени. Царь хотел изъяснить милость и Филарету: позволил ему стоять в церкви на крылосе, взять к себе Чернца в келию для услуг и беседы; приказал всем довольствоваться своего *изменника* (еще так называя сего мужа непорочного в совести) и для богомольцев отворить монастырь Сийский, но не пускать их к опальному Иноку; приказал наконец (в 1605 году) посвятить Филарета в Иеромонахи и в Архимандриты, чтобы тем более удалить его от мира!

Не одни Романовы были страшилищем для Борисова воображения. Он запретил Князьям Мстиславскому и Василию Шуйскому жениться, думая, что их дети, по древней знатности своего рода, могли бы также состязаться с его сыном о престоле. Между тем, устраняя будущие мнимые опасности для юного Феодора, робкий губитель трепетал настоящих: волнуемый подозрениями, непрестанно боясь тайных злодеев и равно боясь заслужить народную ненависть мучительством, гнал и миловал: сослал Воеводу, Князя Владимира Бахтеярова-Ростовского, и простил его; удалил от дел знаменитого Дьяка Щелкалова, но без явной опалы; несколько раз удалял и Шуйских, и снова приближал к себе: ласкал их, и в то же время грозил немилостию всякому, кто имел обхождение с ними. Не было торжественных казней, но морили несчастных в темницах, пытали по доносам. Сонмы изветников, если не всегда награждаемых, но всегда свободных от наказания за ложь и клевету, стремились к Царским палатам из домов Боярских и хижин, из монастырей и церквей: слуги доносили на господ, Иноки, Попы, Дьячки, просвирницы на людей всякого звания — самые жены на мужей, самые дети на отцов, к ужасу человечества! «И в диких Ордах (прибавляет Летописец) не бывает столь великого зла: господа не смели глядеть на рабов своих, ни ближние искренно говорить между собою; а когда говорили, то взаимно

обязывались страшною клятвою не изменять скромности». Одним словом, сие печальное время Борисова Царствования, уступая Иоаннову в кровопийстве, не уступало ему в беззаконии и разврате: наследство гибельное для будущего! Но великодушие еще действовало в Россиянах (оно пережило Иоанна и Годунова, чтобы спасти отечество): жалели о невинных страдальцах и мерзли постыдными милостями Венценовца к доносителям; другие боялись за себя, за ближних — и скоро неудовольствие сделалось общим. Еще многие славили Бориса: приверженники, льстецы, изветники, утучняемые стяжанием опальных: еще знатное Духовенство, как уверяют, хранило в душе усердие к Венценовцу, который осыпал Святителей знаками благоволения: но глас отечества уже не слышался в хвале частной, корыстолюбивой, и молчание народа, служа для Царя явною укоризною, возвестило важную перемену в сердца Россиян: *они уже не любили Бориса!*

Так говорит Летописец современный, беспристрастный, и сам знаменитый в нашей Истории своею государственною доблестию: Келарь Палицын. Народы всегда благодарны: оставляя Небу судить тайну Борисова сердца, Россияне искренно славили Царя, когда он под личиною добродетели казался им отцом народа; но признав в нем тирана, естественно возненавидели его и за настоящее и за минувшее: в чем, может быть, хотели сомневаться, в том снова удостоверились, и кровь Димитриева явнее означилась для них на порфире губителя невинных: вспомнили судьбу Углича и других жертв мстительного властолюбия Годунова; безмолвствовали, но тем сильнее чувствовали в присутствии изветников — и тем сильнее говорили в святых местах недоступных для услужников тиранства, коего время бывает и Царством клеветы и Царством ненарушимой скромности: там, в тихих беседах дружества, неумолимая истина обнажала, а ненависть чернила Бориса, упрекая его не только душегубством, гонением людей знаменитых, грабежом их достояния, алчностью к прибытку беззаконному, корыстолюбивым введением откупов, размножением казенных домов питейных, порчею нравов, но и пристрастием к иноземным, новым обычаям (из коих брадобритие особенно соблазняло усердных староверов), даже склонностию к Арменской и к Латинской ереси! Как любовь, так и ненависть редко бывают довольны истиною: первая в хвале, последняя в осуждении. Годунову ставили в вину и самую ревность его к просвещению!

В сие время общей нелюбви к Борису он имел случай доказать свою чувствительность к народному бедствию, заботливость, щедрость

необыкновенную; но и тем уже не мог тронуть сердец, к нему остывших. Среди естественного обилия и богатства земли плодоносной, населенной хлебопашцами трудолюбивыми; среди благословений долговременного мира, и в Царствование деятельное, предусмотрительное, пала на миллионы людей казнь страшная: весною, в 1601 году, небо омрачилось густою тьмою, и дожди лили в течение десяти недель непрестанно так, что жители сельские пришли в ужас: не могли ничем заниматься, ни косить, ни жать; а 15 Августа жестокий мороз повредил как зеленому хлебу, так и всем плодам незрелым. Еще в житницах и в гумнах находилось немало старого хлеба; но земледельцы, к несчастью, засеяли поля новым, гнилым, тощим, и не видали всходов, ни осенью, ни весною: все истлело и смешалось с землею. Между тем запасы изошли, и поля уже остались незасеянными. Тогда началось бедствие, и вопль голодных встревожил Царя. Не только гумна в селах, но и рынки в столице опустели, и четверть ржи возвысилась ценою от 12 и 15 денег до трех (пятнадцати нынешних серебряных) рублей. Борис велел отворить Царские житницы в Москве и в других городах; убедил Духовенство и Вельмож продавать хлебные свои запасы также низкою ценою; отворил и казну: в четырех оградах, сделанных близ деревянной стены Московской, лежали кучи серебра для бедных, ежедневно, в час утра, каждому давали две морковки, деньгу или копейку — но голод свирепствовал: ибо хитрые корыстолюбцы обманом скупали дешевый хлеб в житницах казенных, Святительских, Боярских, чтобы возвышать его цену и торговать им с прибытком бессовестным; бедные, получая в день копейку серебряную, не могли питаться. Самое благодеяние обратилось во зло для столицы; из всех ближних и дальних мест земледельцы с женами и детьми стремились толпами в Москву за Царскою милостынею, умножая тем число нищих. Казна раздавала в день несколько тысяч рублей, и бесполезно: голод усиливался и наконец достиг крайности столь ужасной, что нельзя без трепета читать ее достоверного описания в преданиях современников. «Свидетельствуюсь истиною и Богом, — пишет один из них, — что я собственными глазами видел в Москве людей, которые, лежа на улицах, подобно скоту щипали траву и питались ею; у мертвых находили во рту сено». Мясо лошадиное казалось лакомством: ели собак, кошек, стерво, всякую нечистоту. Люди сделались хуже зверей: оставляли семейства и жен, чтобы не делиться с ними куском последним. Не только грабили, убивали за ломоть хлеба, но и пожирали друг друга. Путешественники боялись хозяев, и гостиницы стали вертепами душегубства: давили,

резали сонных для ужасной пищи! Мясо человеческое продавалось в пирогах на рынках! Матери глодали трупы своих младенцев!.. Злодеев казнили, жгли, кидали в воду; но преступления не уменьшались... И в сие время другие изверги копили, берегли хлеб в надежде продать его еще дороже!.. Гибло множество в неизъяснимых муках голода. Везде шатались полумертвые, падали, издыхали на площадях. Москва заразилась бы смрадом гниющих тел, если бы Царь не велел, на свое иждивение, хоронить их, истощая казну и для мертвых. Приставы ездили в Москве из улицы в улицу, подбирали мертвецов, обмывали, завертывали в белые саваны, обували в красные башмаки или коты и сотнями возили за город в три скудельницы, где в два года и четыре месяца было схоронено 127000 трупов, кроме погребенных людьми христоролюбивыми у церквей приходских. Пишут, что в одной Москве умерло тогда 500000 человек, а в селлах и в других областях еще несравненно более, от голода и холода: ибо зимою нищие толпами замерзали на дорогах. Пища неестественная также производила болезни и мор, особенно в Смоленском уезде, куда Царь в одно время послал 20000 рублей для бедных, не оставив ни одного города в России без вспоможения, и если не спасая многих, то везде уменьшая число жертв, так что сокровищница Московская, полная от благополучного Феодорова Царствования, казалась неистощимою. И все иные возможные меры были им приняты: он не только в ближних городах скупал ценою им определенной, волею и неволею, все хлебные запасы у богатых; но послал и в самые дальние, изобильнейшие места освидетельствовать гумна, где еще нашлись огромные скирды, в течение полувека неприкосновенные и поросшие деревьями: велел немедленно молотить и везти хлеб как в Москву, так и в другие области. В доставлении встречались неминуемые, едва одолжимые трудности: во многих местах на пути не было ни подвод, ни корму; ямщики и все жители сельские разбегались. Обозы шли Россиею как бы пустынею Африканскою, под мечами и копьями воинов, опасаясь нападения голодных, которые не только вне селений, но и в Москве, на улицах и рынках, силою отнимали съестное. — Наконец деятельность верховной власти устранила все препятствия, и в 1603 году, мало-помалу, исчезли все знаменья ужаснейшего из зол: снова явилось обилие, и такое, что четверть хлеба упала ценою от трех рублей до 10 копеек, к восхищению народа и к отчаянию корыстолюбцев, еще богатых тайными запасами ржи и пшеницы! Памятником бывшей, беспримерной дороговизны осталась навсегда, как сказано в летописях, ею введенная, новая *мера четверик*, ибо до 1601 года хлеб продавали в

России единственно *оковами, бочками* или *кадями*, четвертями и осьминами.

Бедствие прекратилось, но следы его не могли быть скоро изглажены: заметно уменьшилось число людей в России и достояние многих! оскудела без сомнения и казна, хотя Годунов, великодушно расточая оную для спасения народного, не только не убавил своей обыкновенной пышности Царской, но еще более нежели когда-нибудь хотел блистать оною, чтобы закрыть тем действие гнева Небесного, особенно для послов иноземных, окружая их на пути от границы до Москвы призраками изобилия и роскоши: везде являлись люди, богато или красиво одетые; везде рынки полные товаров, мяса и хлеба, и ни единого нищего там, где за версту в сторону могилы наполнялись жертвами голода. В сие-то время Борис столь пышно угощал своего нареченного зятя, Герцога датского — и в сие же время украшал древний Кремль новыми зданиями: в 1600 году воздвигнув огромную колокольню Ивана Великого, пристроил в 1601 и 1602 годах, на месте сломанного деревянного дворца Иоаннова, две большие каменные палаты к Золотой и Грановитой, столовую и панихидную, чтобы доставить тем работу и пропитание людям бедным, соединяя с милостию пользу, и во дни плача думая о велелепии! Однако ж не Московские летописцы, а только чужеземные историки упрекают Бориса гордостью неуклонною и в общем бедствии, суетою, тщеславием, рассказывая, что он запретил тогда Россиянам купить весьма умеренною ценою знатное количество ржи у Немцев в Иванегороде, стыдясь питать народ свой чужим хлебом. Известие конечно несправедливое: ибо наши государственные бумаги, свидетельствуя о приходе туда Немецких кораблей с хлебом в 1602 году, не упоминают о таком жестоком запрете. Борис, оказав в сем несчастии столько деятельности и столько щедрости, чтобы удостоверить Россию в любви истинно отеческой Царя к подданным, не мог явно жертвовать их спасением тщеславию безумному.

Но Борис не обольстил Россиян своими благодеяниями: ибо мысль, для него страшная, господствовала в душах мысль, что Небо за беззакония Царя казнит Царство. «Изливая на бедных щедроты, — говорят Летописцы, — он в золотой чаше подавал им кровь невинных, да пьют во здравие; питал их милостынею богопротивною, расхитив имение Вельмож честных, и древние сокровища Царские осквернив добычею грабежа». Россия не благоденствовала в новом изобилии; не имела времени успокоиться: открылось новое бедствие, в коем современники непосредственно винули Бориса.

Еще Иоанн IV, желая населить Литовскую Украину, землю Северскую, людьми годными к ратному делу, не мешал в ней укрываться и спокойно жить преступникам, которые уходили туда от казни: ибо думал, что они, в случае войны, могут быть надежными защитниками границы. Борис, любя следовать многим государственным мыслям Иоанновым, последовал и сей, весьма ложной и весьма несчастной: ибо незнаемо изготовил тем многочисленную дружину злодеев в услугу врагам отечества и собственным. «Великий разум и жестокость Грозного, — по словам Летописца, — не давали двинуться змиям; а кроткий, набожный Феодор связывал их своею молитвою», но Борис увидел зло, и еще увеличил его другими плодами своего мудрования, несогласного с вечными уставами правды. Издревле Бояре наши окружали себя толпами слуг, вольных и крепостных; издревле также любили кабалить первых: закон, изданный в Феодорово время, единственно в угодность знатному Дворянству, об укреплении всех людей, служащих господам не менее шести месяцев, совершенно прекратил род вольных слуг в нашем отечестве и наполнил дома Боярские рабами, коими сделались тогда, в противность Иоаннову Судебнику, даже и многие люди воинские, благородные, от нищеты, но без стыда служив богачам именитым: закон недостойный сего имени своею явною несправедливостию! Еще мало: к его действию присоединилось и насилие: знатные и случайные бессовестно укрепляли и не слуг, а всякого беззащитного, кто им нравился художеством, рукодельем, ловкостию или красотою. Но в дешевое время охотно умножав свою челядь, Дворяне во время голода начали распускать ее: воля обратилась в казнь и мучительство! Люди, еще совестные, выгоняли слуг из дому по крайней мере с отпускными; а злые без всякого письменного вида, с намерением клепать их в бегстве и в сносе, чтобы ябедою суда разорять тех, которые могли бы из человеколюбия дать им у себя дело и пищу: ужас разврата обыкновенного в години бедствий! Несчастные гибли или разбойничали, вместе со многими людьми Вельмож ссыльных, Романовых и других, осужденными вести жизнь бродяг (ибо никто не смел принять слуг опального) — вместе с украинскими беглецами, ходившими из гнезда своего в добычу и внутрь России. Явились шайки на дорогах; завелись пристани в местах глухих и лесистых; грабили, убивали под самую Москвою. Не боялись и сыскных дружин воинских: злодеи смело пускались на сечу с ними, имея Атаманом Хлопка, или Косолапа, удальца редкого. Государь должен был действовать с усилием немаловажным, и в мирное время отрядить целое войско против

разбойника! Главный Воевода, Окольный Иван Федорович Басманов, едва выступив в поле, уже встретил Хлопка, врага презрительного, но злого, который, соединив свои шайки, дерзнул близ Москвы спорить с ним о победе. Упорная битва, бесславная и жестокая, решилась смертью Басманова: видя его падающего с коня, воины кинулись на разбойников, не жалели себя, и наконец одолели их остервенение: большую часть истребили и взяли в плен Атамана, изнемогшего от тяжелых ран — злодея, коего необыкновенная храбрость достойна была лучшего побуждения и лучшей цели! Удивленный дерзостью сего опасного скопища, Борис искал, кажется, тайных соумышленников или наставников Хлопка между людьми значительнейшими, зная, что в его шайках находились слуги господ опальных, и подозревая, что они могли быть вооружены местию против гонителя Романовых. Нарядили следствие; допрашивали, пытали взятых разбойников, но, по-видимому, ничего не узнали, кроме их собственных злодеяний. Хлопко, вероятно, умер от ран или в муках: всех других перевешали, и Борис единственно в сем случае уклонился от своего человеколюбивого обета не казнить никого смертью. — Еще многие из товарищей Хлопковых спаслись бегством в Украину, где Воеводы, по указу государеву, их ловили и вешали, но не могли истребить гнезда злодейского, которое ждало нового, гораздо опаснейшего Атамана, чтобы дать ему передовую дружину на пути к столице!

Так готовилась Россия к ужаснейшему из явлений в своей истории; готовилась долго: неистовым тиранством двадцати четырех лет Иоанновых, адскою игрою Борисова властолюбия, бедствиями свирепого голода и всеместных разбоев, ожесточением сердец, развратом народа — всем, что предшествует испровержению Государств, осужденных Провидением на гибель или на мучительное возрождение.

Если, как пишут, очевидцы, не было ни правды, ни чести в людях; если долговременный голод не смирил, не исправил их; но еще умножил пороки между ими: распутство, корыстолюбие, лихоимство, бесчувствие к страданию ближних; если и самое лучшее Дворянство, и самое Духовенство заражалось общемо язвою разврата, слабая в усердии к отечеству от беззаконий Царя, уже вообще ненавистного: то нужны ли были иные, чудесные знамения для устрашения России? ибо сии же Летописцы, следуя древнему обыкновению суеверия, рассказывают, что «нередко восходили тогда два и три солнца вместе; столпы огненные, ночью пылая на тверди, в своих быстрых движениях представляли битву воинств и красным цветом озаряли землю; от бурь

и вихрей падали колокольни и башни; женщины и животные производили на свет множество уродов; рыбы во глубине вод и дичь в лесах исчезали, или, употребляемые в пищу, не имели вкуса; алчные псы и волки, везде бегая станицами, пожирали людей и друг друга; звери и птицы невиданные явились; орлы парили над Москвою; в улицах у самого дворца, ловили руками лисиц черных; летом (в 1604 году) в светлый полдень воссияла на небе комета, и мудрый старец, за несколько лет пред тем вызванный Борисом из Германии, объявил Дьяку Государственному (Власьеву), что Царству угрожает великая опасность». Оставим суеверие предкам: его мнимые ужасы не столь разнообразны, как действительные в истории народов.

В сие время [26 Октября 1603 г.] скончалась Ирина в келии Новодевичьего монастыря, около шести лет не выйдя из своего добровольного заключения никуда, кроме церкви, пристроенной к ее смиренному жилищу. Жена знаменитая и душевными качествами и судьбою необыкновенною; без отца, без матери, в печальном сиротстве взысканная удивительным счастьем; воспитанная, любимая Иоанном — и добродетельная; первая *Державная Царица* России, и в юных летах Монахиня; чистая сердцем пред Богом, но омраченная в истории союзом с злым властолюбцем, коему она указала путь к престолу, хотя и невинно, будучи ослеплена любовью к нему и блеском его наружных добродетелей, не зная его тайных преступлений или не веря оным. Мог ли Борис открыть свою темную душу сердцу преданному святой набожности? Он делил с нежною сестрою только добрые чувства: с нею радовался торжеству отечества и скорбел о случаях бедственных для оного; поверял ей, может быть, свое великое намерение просветить Россию, жаловался на злую неблагодарность, на злые умыслы, призраки его беспокойной совести, и на горестную необходимость карать Вельмож-изменников; лицемерив пред сестрою в добре, не лицемерил, может быть, только в изъявлениях скорби о кончине ее: Ирина не мешала ему державствовать и служила Ангелом-хранителем, всеми любимая как истинная мать народа и в келии. Погребли Инокиню с великолепием Царским в девичьем Вознесенском монастыре, близ гроба Иоанновой дочери Марии и никогда не раздавалось столько милостыни, как в сей день печали; бедные во всех городах Российских благословили щедрость Борисову. Ирина была счастлива, смежив глаза навеки: ибо не видала гибели всего, что еще любила в жизни.

Настало время явной казни для того, кто не верил правосудию Божественному в земном мире, надеясь, может быть, смиренным

покаянием спасти свою душу от ада (как надеялся Иоанн) и делами достохвальными загладить для людей память своих беззаконий. Не там, где Борис стерегся опасности, незапная опасность явилась; не потомки Рюриковы, не Князья и Вельможи, им гонимые, — не дети и друзья их, вооруженные местию, умыслили свергнуть его с Царства: сие дело умыслил и совершил презренный бродяга, именем младенца, давно лежавшего в могиле... Как бы Действием сверхъестественным тень Димитриева вышла из гроба, чтобы ужасом поразить, обезумить убийцу и привести в смятение всю Россию. Начинаем повесть, равно истинную и невероятную.

Бедный сын Боярский, Галичанин Юрий Отрепьев, в юности лишаась отца, именем Богдана-Якова, стрелецкого сотника, зарезанного в Москве пьяным Литвином, служил в доме у Романовых и Князя Бориса Черкасского; знал грамоте; оказывал много ума, но мало благоразумия; скучал низким состоянием и решился искать удовольствия беспечной праздности в сане Инока, следуя примеру деда, Замятни-Отрепьева, который уже давно монашествовал в обители Чудовской. Постриженный Вятским Игуменом Трифоном и названный Григорием, сей юный Чернец скитался из места в место; жил несколько времени в Суздале, в обители Св. Евфимия, в Галицкой Иоанна Предтечи и в других; наконец в Чудове монастыре, в келии у деда, под началом. Там Патриарх Иов узнал его, посвятил в Диаконы и взял к себе для *книжного дела* : ибо Григорий умел не только хорошо списывать, но даже и сочинять каноны Святым лучше многих старых книжников того времени. Пользуясь милостию Иова, он часто ездил с ним и во дворец: видел пышность Царскую и пленялся ею; изъявлял необыкновенное любопытство; с жадностию слушал людей разумных, особенно когда в искренних, тайных беседах произносилось имя Димитрия Царевича; везде, где мог, выведывал обстоятельства его судьбы несчастной и записывал на хартии. Мысль чудная уже поселилась и зрела в душе мечтателя, внушенная ему, как уверяют, одним злым Иноком: мысль, что смелый самозванец может воспользоваться легковерием Россиян, умиляемых памятью Димитрия, и в честь Небесного Правосудия казнить святоубийцу! Семя пало на землю плодоносную: юный Диакон с прилежанием читал Российские летописи и нескромно, хотя и в шутку, говаривал иногда Чудовским Монахам: «знаете ли, что я буду Царем на Москве?» Одни смеялись; другие плевали ему в глаза, как врало дерзкому. Сии или подобные речи дошли до ростовского Митрополита Ионы, который объявил Патриарху и самому Царю, что «недостойный Инок Григорий хочет

быть сосудом дьявольским»: добродушный Патриарх не уважил Митрополитова извета, но Царь велел Дьяку своему, Смирнову-Васильеву, отправить безумца Григория в Соловки, или в Белозерские пустыни, будто бы за ересь, навечное покаяние. Смирной сказал о том другому Дьяку, Евфимьеву; Евфимьев же, будучи свойственником Отрепьевых, умолил его не спешить в исполнении Царского указа и дал способ опальному Дьякону спастись бегством (в Феврале 1602 года), вместе с двумя Иноками Чудовскими, Священником Варлаамом и Крылошанином Мисаилом Повадиным. Не думали гнаться за ними, и не известили Царя, как уверяют, о сем побеге, коего следствия оказались столь важными.

Бродяги-Иноки были тогда явлением обыкновенным; всякая обитель служила для них гостиницею: во всякой находили они покой и довольствие, а на путь запас и благословение. Григорий и товарищи его свободно достигли Новагорода Северского, где Архимандрит Спасской обители принял их весьма дружелюбно и дал им слугу с лошадьми, чтобы ехать в Путивль; но беглецы, отослав провожатого, спешили в Киев, и Спасский Архимандрит нашел в келии, где жил Григорий, следующую записку: «Я Царевич Димитрий, сын Иоаннов, и не забуду твоей ласки, когда сяду на престол отца моего». Архимандрит ужаснулся; не знал, что делать; решился молчать.

Так в первый раз открылся Самозванец еще в пределах России; так беглый Дьякон вздумал грубою ложью низвергнуть великого Монарха и сесть на его престоле, в державе, где Венценосец считался земным Богом, — где народ еще никогда не изменял Царям, и где присяга, данная Государю *избранному*, для верных подданных была не менее священной! Чем, кроме действия непостижимой Судьбы, кроме воли Провидения, можем изъяснить не только успех, но и самую мысль такого предприятия? Оно казалось безумием; но безумец избрал надежнейший путь к цели: Литву!

Там древняя, естественная ненависть к России всегда усердно благоприятствовала нашим изменникам, от Князей Шемякина, Верейского, Боровского и Тверского до Курбского и Головина: туда устремился и Самозванец, не прямою дорогою, а мимо Стародуба, к Луевым горам, сквозь темные леса и дебри, где служил ему путеводителем новый спутник его, Инок *Днепра* монастыря, Пимен, и где, вышедши наконец из Российских владений близ Литовского селения Слободки, он принес усердную благодарность Небу за счастливое избежание всех опасностей. В Киеве, снискав милость знаменитого Воеводы Князя Василия Константиновича Острожского,

Григорий жил в Печерском монастыре, а после в Никольском и в Дермане; везде священнодействовал как Диакон, но вел жизнь соблазнительную, презирая устав воздержания и целомудрия; хвалился свободою мнений, любил толковать о Законе с иноверцами и был даже в тесной связи с Анабаптистами. Между тем безумная мысль не усыпала в голове прошлеца: он распустил темную молву о спасении и тайном убежище Димитрия в Литве; свел знакомство с другим отчаянным бродягою, Иноком Крыпецкого монастыря, Леонидом: уговорил его назваться своим именем, то есть Григорием Отрепьевым; а сам, скинув с себя одежду Монашескую, явился мирянином, чтобы удобнее приобрести навыки и знания, нужные ему для ослепления людей. Среди густых камышей Днепровских гнездились тогда шайки удалых Запорожцев, бдительных стражей и дерзких грабителей Литовского Княжества: у них, как пишут, расстрига Отрепьев несколько времени учился владеть мечем и конем, в шайке Герасима Евангелика, старшины именитого; узнал и полюбил опасность; добыл первой воинской опытности и корысти. Но скоро увидели прошлеца на ином феатре: в мирной школе городка Волынского, Гащи, за Польскою и Латинскою грамматикою: ибо мнимому Царевичу надобно было действовать не только оружием, но и словом. Из школы он перешел в службу к Князю Адаму Вишневецкому, который жил в Брагине со всею пышностию богатого Вельможи. Тут Самозванец приступил к делу — и если искал надежного, лучшего пособника в предприятии равно дерзком и нелепом, то не обманулся в выборе: ибо Вишневецкий, сильный при дворе и в Государственной думе многочисленными друзьями и прислужниками, соединял в себе надменность с умом слабым и легковерием младенца. Новый слуга знаменитого Пана вел себя скромно; убегал всяких низких забав, ревностно участвовал только в воинских, и с отменною ловкостию. Имея наружность некрасивую — рост средний, грудь широкую, волосы рыжеватые, лицо круглое, белое, но совсем не привлекательное, глаза голубые без огня, взор тусклый, нос широкий, бородавку под правым глазом, также на лбу, и одну руку короче другой — Отрепьев заменял сию невыгоду живостию и смелостию ума, красноречием, осанкою благородною. Заслужив внимание и доброе расположение господина, хитрый обманщик притворился больным, требовал Духовника, и сказал ему тихо: «Умираю. Предай мое тело земле с честью, как хоронят детей Царских. Не объявлю своей тайны до гроба; когда же закрою глаза навеки, ты найдешь у меня под ложем свиток, и все узнаешь; но другим не сказывай. Бог судил мне умереть в злосчастии». Духовник был Иезуит:

он спешил известить Князя Вишневецкого о сей тайне, а любопытный Князь спешил узнать ее: обыскал постелю мнимоумирающего; нашел бумагу, заблаговременно изготовленную, и прочитал в ней, что слуга его есть Царевич Димитрий, спасенный от убиения своим верным медиком; что злодеи, присланные в Углич, умертвили одного сына Иерейского, вместо Димитрия, коего укрыли добрые Вельможи и Дьяки Щелкаловы, а после выпроводили в Литву, исполняя наказ Иоаннов, данный им на сей случай. Вишневецкий изумился: еще хотел сомневаться, но уже не мог, когда хитрец, вина нескромность Духовника, раскрыл свою грудь, показал золотой, драгоценными камнями осыпанный крест (вероятно где-нибудь украденный) и с слезами объявил, что сия святыня дана ему крестным отцем Князем Иваном Мстиславским.

Вельможа Литовский был в восхищении. Какая слава представлялась для него возможною! бывшего слугу своего увидеть на троне Московском! Он не щадил ничего, чтобы поднять мнимого Димитрия с одра смертного, и в краткое время его притворного выздоровления изготовив ему великолепное жилище, пышную услугу, богатые одежды, успел во всей Литве разгласить о чудесном спасении Иоаннова сына. Брат Князя Адама Константин Вишневецкий и тесть сего последнего Воевода Сендомирский Юрий Мнишек взяли особенное участие в судьбе столь знаменитого изгнанника, как они думали, веря свитку, золотому кресту обманщика и свидетельству двух слуг: обличенного вора беглеца Петровского и другого, Мнишкова холопа, который в Иоанново время был нашим пленником и будто бы видал Димитрия (младенца двух или трех лет) в Угличе: первый уверял, что Царевич действительно имел приметы Самозванца (дотоле никому неизвестные): бородавки на лице и короткую руку. Вишневецкие донесли Сигизмунду, что у них истинный наследник Феодоров: а Сигизмунд отвечал, что желает его видеть, уже быв извещен о сем любопытном явлении другими, не менее ревностными доброхотами Самозванца: Папским Нунцием Рангони и пронырливыми Иезуитами, которые тогда Царствовали в Польше, управляя совестью малодушного Сигизмунда, и легко вразумили его в важные следствия такого случая.

В самом деле, что могло казаться счастливее для Литвы и Рима? Чего нельзя было им требовать от благодарности Лжедимитрия, содействуя ему в приобретении Царства, которое всегда грозило Литве и всегда отвергало духовную власть Рима? В опасном неприятеле Сигизмунд мог найти друга и союзника, а Папа усердного сына в непреклонном ослушнике. Сим изъясняется легковерие Короля и

Нунция: думали не об истине, но единственно о пользе; одно бедствие, одно смятение и междоусобие России уже пленяло воображение наших врагов естественных; и если робкий Сигизмунд еще колебался, то ревностные Иезуиты победили его нерешимость, представив ему способ, обольстительный для душ слабых: действовать не открыто, не прямо, и под личиною мирного соседа ввергнуть пламя войны в Россию. Уже Рангони находился в тесной связи с Самозванцем, и деятельные Иезуиты служили посредниками между ими; уже с обеих сторон изъяснились и заключили договор: Лжедмитрий письменно обязался за себя и за Россию пристать к Латинской Церкви, а Рангони быть его ходатаем не только в Польше и в Риме, но и во всей Европе; советовал ему спешить к Королю и ручался за доброе следствие их свидания.

Вместе с Воеводою Сендомирским и Князем Вишневецким Отрепьев (в 1603 или 1604 году) явился в Кракове, где Нунций немедленно посетил его. «Я сам был тому свидетелем, — пишет Секретарь Королевский Чилли, *веря мнимому Царевичу* : — я видел, как Нунций обнимал и ласкал Дмитрия, беседуя с ним о России и говоря, что ему должно торжественно объявить себя Католиком для успеха в своем деле. Дмитрий с видом сердечного умиления клялся в непременном исполнении данного им обета и вторично подтвердил сию клятву в доме у Нунция, в присутствии многих Вельмож. Угостив Царевича пышным обедом, Рангони повез его во дворец. Сигизмунд, обыкновенно важный и величавый, принял Дмитрия в кабинете, стоя, и с ласковою улыбкою. Дмитрий поцеловал у него руку, рассказал ему всю свою историю», и заключил так: *Государь! вспомни, что ты сам родился в узах и спасен единственно Провидением. Державный изгнанник требует от тебя сожаления и помощи* . «Чиновник Королевский дал знак Царевичу, чтобы он вышел в другую комнату, где Воевода Сендомирский и все мы ждали его. Король остался наедине с Нунцием; чрез несколько минут снова призвал Дмитрия. Положив руку на сердце, смиренный Царевич более вздохами, нежели словами убеждал Сигизмунда быть милостивым. Тогда Король с веселым видом, приподняв свою шляпу, сказал: *Да поможет вам Бог, Московский Князь Дмитрий! А мы, выслушав и рассмотрев все ваши свидетельства, несомнительно видим в вас Иоаннова сына, и в доказательство нашего искреннего благоволения определяем вам ежегодно 40000 золотых* » (54000 нынешних рублей серебряных) «*на содержание и всякие издержки. Сверх того вы, как истинный друг Республики, вольны сноситься с нашими Панами и пользоваться их*

усердным вспоможением. Сия речь столько восхитила Димитрия, что он не мог сказать ни единого слова: Нунций благодарил Короля, привез Царевича в дом к Воеводе Сендомирскому и, снова обняв его, советовал ему действовать немедленно, чтобы скорее достигнуть цели: отнять Державу у Годунова и навеки утвердить в России Веру Католическую с Иезуитами». Прежде всего надлежало самому Лжедимитрию принять сию Веру: чего неотменно хотел Рангони; но условились не оглашать того до времени, боясь закоренелой ненависти Россиян к Латинской Церкви. Действие совершилось в доме Краковских Иезуитов. Расстрига шел к ним тайно с каким-то Вельможею Польским в бедном рубище, закрывая лицо свое, чтобы никто не узнал его; выбрал одного из них себе в Духовники, исповедался, отрекся от нашей Церкви, и как новый ревностный сын Западной принял Тело Христово с миропомазанием от Римского Нунция. Так сказано в письмах *Иезуитского общества*, которое славилло будущие великие добродетели мнимого Димитрия, надеясь усердием его подчинить Риму *все неизмеримые страны Востока!* — Тогда Отрепьев, следуя наставлениям нунция, собственною рукою написал красноречивое Латинское письмо к Папе, чтобы иметь в нем искреннего покровителя — и Климент VIII не замедлил удостоверить его в своей готовности вспомогать ему всюю духовною властью Апостольского Наместника.

Должно отдать справедливость уму расстриги: предав себя Иезуитам, он выбрал действительнейшее средство одушевить ревностию беспечного Сигизмунда, который, вопреки чести, совести, народному праву и мнению многих знатных Вельмож, решился быть сподвижником бродяги. Славный друг Баториев Гетман Замойский был еще жив: Король писал к нему о своем важном предприятии, говоря, что Республика, доставив Димитрию корону, будет располагать силами Московской Державы, легко обуздает Турков, Хана и Шведов, возьмет Эстонию и всю Ливонию, откроет путь для своей торговли в Персию и в Индию; но что сие великое намерение, требуя тайны и скорости, не может быть предложено сейму, дабы Годунов не имел времени изготовиться к обороне. Тщетно старец Замойский, Пан Жолкевский, Князь Острожский и другие Вельможи благоразумные удерживали Короля, не советуя ему легкомысленно вдаваться в опасность такой войны, особенно без ведома чинов государственных и с малыми силами; тщетно знаменитый Пан Збаражский доказывал, что мнимый Димитрий есть без сомнения обманщик. Убежденный Иезуитами, но не дерзая самовластно нарушить двадцатилетнего перемирия,

заключенного между им и Борисом, Король велел Мнишку и Вишневецким поднять знамя против Годунова именем Иоаннова сына и составить рать из вольницы; определил ей на жалованье доходы Сендомирского Воеводства; внушал Дворянам, что слава и богатство ожидают их в России и, торжественно возложив с своей груди золотую цепь на расстригу, отпустил его с двумя Иезуитами из Кракова в Галицию, где близ Львова и Самбора, в местностях Вельможи Мнишка, под распущенными знаменами уже толпилась Шляхта и чернь, чтобы идти на Москву.

Главою и первым ревнителем сего подвига сделался старец Мнишек, коему старость не мешала быть ни честолюбивым, ни легкомысленным до безрассудности. Он имел юную дочь прелестницу, Марину, подобно ему честолюбивую и ветреную: Лжедмитрий, гостя у него в Самборе, объявил себя, искренно или притворно, страстным ее любовником и вскружил ей голову именем Царевича; а гордый Воевода с радостию благословил сию взаимную склонность, в надежде видеть Россию у ног своей дочери, как наследственную собственность его потомства. Чтобы утвердить сию лестную надежду и хитро воспользоваться еще неверными обстоятельствами жениха, Мнишек предложил ему условия, без малейшего сомнения принятые расстригою, который дал на себя следующее обязательство (писанное 25 Мая 1604, собственною рукою Воеводы Сендомирского): «Мы, Димитрий *Иванович*, Божиею милостию *Царевич* Великой России, Углицкий, Дмитровский и проч., Князь от колена предков своих, и всех Государств Московских Государь и наследник, по уставу Небесному и примеру Монархов Христианских избрали себе достойную супругу, Вельможную Панну Марину, дочь ясновельможного Пана Юрия Мнишка, коего считаем отцем своим, испытав его честность и любовь к нам, но отложили бракосочетание до нашего воцарения: тогда — в чем клянемся именем Св. Троицы и прямым словом Царским — женюсь на панне Марине, обязываясь: 1) выдать немедленно миллион золотых» (1350000 нынешних серебряных рублей) «на уплату его долгов и на ее путешествие до Москвы, сверх драгоценностей, которые пришлем ей из нашей казны Московской; 2) торжественным Посольством известить о сем деле Короля Сигизмунда и просить его благосклонного согласия на оное; 3) будущей супруге нашей уступить два Великие Государства, Новгород и Псков, со всеми уездами и пригородами, с людьми Думными, Дворянами, Детьми Боярскими и с Духовенством, так чтобы она могла судить и рядить в них самовластно, определять Наместников, раздавать вотчины и поместья своим людям служивым, заводить

школы, строить монастыри и церкви Латинской Веры, свободно исповедуя сию Веру, которую и мы сами приняли с твердым намерением ввести оную во всем Государстве Московском. Если же — от чего Боже сохрани — Россия воспротивится нашим мыслям и мы не исполним своего обязательства в течение года, то Панна Марина вольна развестися со мною или взять терпение еще на год», и проч. Сего не довольно: в восторге благодарности Лжедмитрий другою грамотою (писанною 12 Июня 1604) отдал Мнишку в наследственное владение Княжество Смоленское и Северское, кроме некоторых уездов, назначенных им в дар Королю Сигизмунду и Республике в залог вечного, ненарушимого мира между ею и Московскою державою... Так беглый Диякон, чудесное орудие гнева Небесного, под именем Царя Российского готовился предать Россию, с ее величием и православием, в добычу Иезуитам и Ляхам! Но способы его еще не ответствовали важности замысла.

Ополчалась в самом деле не рать, а сволочь на Россию: весьма немногие знатные Дворяне, в угодность Королю, мало уважаемому, или прельщаясь мыслию храбровать за изгнанника Царевича, явились в Самборе и Львове: стремились туда бродяги, голодные и полунагие, требуя оружия не для победы, но для грабежа, или жалованья, которое щедро выдавал Мнишек в надежде на будущее: на богатое вено Марины и доходы Смоленского Княжества. Расстрига и друзья его чувствовали нужду в иных, лучших сподвижниках и должны были естественно искать их в самой России. Достоинно замечания, что некоторые из Московских беглецов, детей Боярских, исполненных ненависти к Годунову, укрываясь тогда в Литве, не хотели быть участниками сего предприятия, ибо видели обман и гнушались злодейством: пишут, что один из них, Яков Пыхачев, даже всенародно, и пред лицом Короля, свидетельствовал о сем грубом обмане вместе с товарищем расстригиным, Иноком Варлаамом, встревоженным совестью; что им не верили и прислали обоих скованных к Воеводе Мнишку в Самбор, где Варлаама заключили в темницу, а Пыхачева, обвиняемого в намерении умертвить Лжедмитрия, казнили. Другие беглецы, менее совестные, Дворянин Иван Борошин с десятью или пятнадцатью клеветами, пали к ногам мнимого Царевича и составили его первую дружину Русскую: скоро нашлася гораздо сильнейшая. Зная свойство мятежных Донских Козаков — зная, что они не любили Годунова, казнившего многих из них за разбои, — Лжедмитрий послал на Дон Литвина Свирского с грамотою; писал, что он сын первого Царя Белого, коему сии вольные Христианские витязи

присягнули в верности; звал их на дело славное: свергнуть раба и злодея с престола Иоаннова. Два Атамана, Андрей Корела и Михайло Нежакож, спешили видеть Лжедмитрия; видели его честимого Сигизмундом, Вельможными Панами и возвратились к товарищам с удостоверением, что их зовет истинный Царевич. Удальцы Донские сели на коней, чтобы присоединиться к толпам Самозванца. Между тем усердный слуга его Пан Михайло Ратомский, Остерский Староста, волновал нашу Украйну чрез своих лазутчиков и двух Монахов Русских, вероятно Мисаила и Леонида, из коих последний, взяв на себя имя Григория Отрепьева, мог свидетельствовать, что оно не принадлежит Самозванцу. В городах, в селах и на дорогах подкидывали грамоты от Лжедмитрия к Россиянам с вестию, что он жив и скоро к ним будет. Народ изумлялся, не зная, верить тому или не верить; а бродяги, негодяи, разбойники, издавна гнездясь в земле Северной, обрадовались: наступало их время. Кто бежал в Галицию к Самозванцу, кто в Киев, где Ратомский также выставил знамя для собрания вольницы: он поднял и Козаков Запорожских, прельщенных мыслию вести бывшего ученика своего на Царство Московское. — Столько движения, столько гласных происшествий могло ли утаиться от Годунова?

Еще прежде, нежели Самозванец открылся Вишневецким, слух, распущенный им в Литве о Димитрии, сделался, вероятно, известным Борису. В Генваре 1604 года Нарвский сановник Тирфельд писал с гонцем к Абовскому градоначальнику, что мнимо убитый сын Иоаннов живет у Козаков: гонца задержали в Иванегороде, и письмо его доставили Царю. В то же время пришли и вести из Литвы и подметные грамоты Лжедмитриевы от наших Воевод украинских; в то же время на берегах Волги Донские Козаки разбили Окольничего Семена Годунова, посланного в Астрахань и, захватив несколько стрельцов, отпустили их в Москву с таким наказом: «объявите Борису, что мы скоро будем к нему с Царевичем Димитрием!» Один Бог видел, что происходило в душе Годунова, когда он услышал сие роковое имя!.. но чем более устранился, тем более хотел казаться бесстрашным. Не сомневаясь в убиении истинного сына Иоаннова, он изъяснял для себя столь дерзкую ложь умыслом своих тайных врагов, и велел лазутчикам узнать в Литве, кто сей Самозванец, искал заговора в России: подозревал Бояр; призвал в Москву Царицу-Инокиню, мать Димитриеву, и ездил к ней в Девиный монастырь с Патриархом, воображая, как вероятно, что она могла быть участницею предполагаемого кова, и надеясь лестию или угрозами выведать ее

тайну: но Царица-Инокня, равно как и Бояре, ничего не знала, с удивлением и, может быть, не без внутреннего удовольствия слыша о Лжедмитрии, который не заменял сына для матери, но страшил его убийцу. Сведая наконец, что Самозванец есть расстрига Отрепьев и что Дьяк Смирной не исполнил Царского указа сослать его в пустыню Беломорскую, Борис усилием притворства не оказал гнева, ибо хотел уверить Россиян в маловажности сего случая: Смирной трепетал, ждал гибели и был казнен, но после, и будто бы за другую вину: за расхищение государственного достояния. Удвоив заставы на Литовской границе, чтобы перехватывать вести о Самозванце, однако ж чувствуя невозможность скрыть его явление от России и боясь молчанием усилить вредные толки, Годунов обнародовал историю беглеца Чудовского, вместе с допросами Монаха Пимена, Венедикта, Чернца Смоленского, и мещанина Ярославца, иконника Степана: первый объявлял, что он сам вывел бродягу Григория в Литву, но не хотел идти с ним далее и возвратился; второй и третий свидетельствовали, что они знали Отрепьева Диаконом в Киеве и вором между запорожцами; что сей негодяй, богоотступник, чернокнижник с умыслу Князей Вишневецких и самого Короля дерзает в Литве называться Дмитрием. В то же время Царь послал, от имени *Бояр*, дядю расстригина Смирного-Отрепьева к Сигизмундовым Вельможам, чтобы в их присутствии изобличить племянника; послал и к Донским Козакам Дворянина Хрущова вывести их из бедственного заблуждения. Но грамоты и слова не действовали: Вельможи Королевские не хотели показать Лжедмитрия Смирнову-Отрепьеву и сухо ответствовали, что им нет дела до мнимого Царевича Российского; а Козаки схватили Хрущова, оковали и привезли к Самозванцу. Уже расстрига (15 Августа) двинулся с своими дружинами к берегам Днепровским и стоял (17 того же месяца) в Сокольниках: Хрущов, представленный ему в цепях, взглянул на него... залился слезами и пал на колена, воскликнув: «вижу Иоанна в лице твоём: я твой слуга навеки!» С него сняли оковы; и сей первый чиновный изменник, ослепленный страхом или корыстию, в знак усердия донес своему новому Государю, мешая истину с ложью, что «народ изъявляет в России любовь к Дмитрию; что самые знатные люди, Меньшой Булгаков и другие, пили у себя с гостями чашу за его здравие и были, по доносу слуг, осуждены на казнь; что Борис умертвил и сестру, вдовствующую Царицу Ирину, которая всегда видела в нем Монарха незаконного; что он, не смея явно ополчаться против Дмитрия, сводит полки в Ливнах, будто бы на случай Ханского впадения; что главные Воеводы их Петр Шереметев и

Михайло Салтыков, встретясь с ним, Хрущовым, в искренней беседе сказали: *нас ожидает не Крымская, а совсем иная война — но трудно поднять руку на Государя природного*, что Борис нездоров, едва ходит от слабости в ногах и думает тайно выслать казну Московскую в Астрахань и в Персию». Годунов без сомнения не убил Ирины и не думал искать убежища в Персии; еще не видал дотоле измены в Россиянах и не казнил ни одного человека за явную приверженность к Самозванцу; с жадностью слушая лазутчиков, доносителей, клеветников, воздерживал себя от тиранства для своей безопасности в таких обстоятельствах и терзаемый подозрениями, еще неосновательными, хотел знаками великодушной доверенности тронуть Бояр и чиновников: но действительно медлил двинуть значительную рать прямо к Литовским пределам, в доказательство ли бесстрашия, боясь ли сильным ополчением дать народу мысль о важности неприятеля, избегая ли войны с Польшею до самой крайней необходимости? Сия необходимость была уже очевидна: Король Сигизмунд вооружал на Бориса не только Самозванца, но и крымских разбойников, убеждая Хана вступить вместе с Лжедмитрием в Россию. Борис знал все и еще послал в Варшаву лично к Королю Дворянина Огарева, усювестить его представлением, сколь унижительно для Венценосца Христианского быть союзником подлого обманщика; вторично объявлял, кто сей мнимый Царевич, и спрашивал, чего Сигизмунд желает: мира или войны с Россиею? Сигизмунд хотел лукавствовать и подобно своим Вельможам отвечал, что не стоит за Лжедмитрия и не мыслит нарушать перемирия; что некоторые Ляхи самовольно помогают сему бродяге, *ушедшему* в Галицию, и будут наказаны как мятежники. «Мы хотели обмануть Бога (пишет современник, один из знатных Ляхов), уверяя бессовестно, что Король и республика не участвуют в Дмитриевом предприятии». — Уже Самозванец начал действовать, а Царь велел Патриарху Иову еще писать к Духовенству Литовскому и Польскому, чтобы оно для блага обеих держав старалось удалить кровопролитие за богоотступника расстригу; все наши Епископы скрепили Патриаршую грамоту своими печатями, клятвенно свидетельствуя, что они все знали Отрепьева Монахом. Таковую же грамоту написал Иов и к Киевскому Воеводе Князю Василию Острожскому, напоминая ему, что он сам знал сего беглеца Диаконом, и заклиная его быть достойным сыном церкви: обличить расстригу, схватить и прислать в Москву. Но гонцы Патриарховы не возвратились: их задержали в Литве и не ответствовали Иову ни Духовенство, ни Князь Острожский: ибо

Самозванец действовал уже с блестящим успехом.

Сие грозное ополчение, которое шло низвергнуть Годунова, состояло едва ли из 1500 воинов исправных, всадников и пеших, кроме сволочи, без устройства и почти без оружия. Главными предводителями были сам Лжедмитрий (сопровожаемый двумя Иезуитами), юный Мнишек (сын Воеводы Сендомирского), Дворжицкий, Фредро и Неборский; каждый из них имел свою особенную дружину и хоругвь; а старец Мнишек первенствовал в их Думе. Они соединились близ Киева с двумя тысячами Донских Козаков, приведенных Свирским, с толпами вольницы, Киевской и Северской, ополченной Ратомским, и 16 октября [1604 г.] вступили в Россию... Тогда единственно Борис начал решительно готовиться к обороне: послал надежных Воевод в украинские крепости с Головами Стрелецкими; а знатных Бояр, Князя Дмитрия Шуйского, Ивана Годунова и Михайла Глебовича Салтыкова в Брянск, чтобы собрать там многочисленное полевое войско. Еще Борис мог стыдиться страха, видя против себя толпы Ляхов, нестройной вольницы и Козаков, предводимые беглым расстригою; но сей человек назывался именем ужасным для Бориса и любезным для России!

Лжедмитрий шел с мечем и с манифестом: объявлял Россиянам, что он, невидимую десницею Всевышнего устраненный от ножа Борисова и долго сокрываемый в неизвестности, сею же рукою изведен на феатр мира под знаменами сильного, храброго войска и спешит в Москву взять наследие своих предков, венец и скипетр Владимиров; напоминал всем чиновникам и гражданам присягу, данную ими Иоанну; убеждал, их оставить хищника Бориса и служить государю законному; обещал мир, тишину, благоденствие, коих они не могли иметь в Царствование злодея богопротивного. Вместе с тем Воевода Сендомирский именем Короля и Вельможных Панов обнародовал, что они, убежденные доказательствами очевидными, несомненно признали Дмитрия истинным Великим Князем Московским, дали ему рать и готовы дать еще сильнейшую для восшествия на престол отца его. Сей манифест довершил действие прежних подметных грамот Лжедмитрия в Украине, где не только сподвижники Хлопковы и слуги опальных Бояр, ненавистники Годунова — не только низкая чернь, но и многие люди воинские поверили Самозванцу, не узнавая беглого Дякона в союзнике Короля Сигизмунда, окруженном знатными Ляхами; в витязе ловком, искусном владеть мечем и конем; в Военачальнике бодром и бесстрашном: ибо Лжедмитрий был всегда впереди, презирал опасность, и взором спокойным искал, казалось, не врагов, а друзей в России. Несчастия Годунова времени, надежда на

лучшее, любовь к чрезвычайному и золото, рассыпаемое Мнишком и Вишневецкими, также способствовали легковерию народному. Тщетно градоначальники Борисовы хотели мешать распространению листов Самозванцевых, опровергали и жгли их: листы ходили из рук в руки, готовя измену. Начались тайные сношения между Самозванцем и городами украинскими, где лазутчики его действовали с величайшею ревностью, обольщая умы и страсти людей — доказывая, что присяга, данная Годунову, не имеет силы: ибо обманутый народ, присягая ему, считал сына Иоаннова мертвым; что сам Борис знает сию истину, обезумел в ужасе и не противится мирному вступлению Царевича в Россию. Самые чиновники колебались, или в оцепенении ждали дальнейших происшествий; самые Воеводы, видя общее движение в пользу Лжедмитрия, опасались, кажется, употребить строгость и не изъявили должного усердия. Составились заговоры, и мятеж вспыхнул.

Отрепьев на левом берегу Днепра разделил свое войско: послал часть его к Белугороду, а сам шел вверх Десны, вслед за рассыпную дружиною переметчиков, которые служили ему верными путеводителями, зная места и людей. Едва поставив ногу на Русскую землю (18 Октября), в Слободе Шляхетской, он сведал о своем первом успехе: жители и воины Моравска отложились от Бориса; связали, выдали Воевод своих Лжедмитрию; встретили его с хлебом и солью. Чувствуя важность начала в таком предприятии, умный пришлец вел себя с отменною ловкостью: торжественно славил Бога; изъявлял милость и величавость; не укорял Воевод моравских верностию к Борису, жалел только об их заблуждении, и дал им свободу; жаловал, ласкал изменников, граждан, воинов, видом и разговором, не без искусства представляя лицо державного, так что от Литовского рубежа до самых внутренних областей России с неимоверною быстротою промчалась добрая слава о Лжедмитрии — и знаменитая столица Ольговичей не усомнилась следовать примеру Моравска. 26 Октября покорился Самозванцу Чернигов, где ратники и граждане также встретили его с хлебом и солью, выдав ему Воевод, из коих главный, Князь Иван Андреевич Татев, внутренно ненавидя Бориса, как второй Хрущов бесстыдно вступил в службу к обманщику. Там хранилась значительная казна: Лжедмитрий, разделив ее между своими воинами, усилил тем их ревность; умножил и число, присоединив к ним 300 стрельцов изменников и жителей, ополченных усердием к нему и духом буйным. Взяв из Черниговской крепости 12 пушек, Самозванец оставил в ней начальником Ляха и спешил к Новгороду Северскому. Он надеялся быть везде завоевателем без кровопролития и

действительно, на берегах Десны, Свины и Снова, видел единственно коленопреклонение народа и слышал радостный клик: «Да здравствует Государь наш, Димитрий!»

Но вести не было из Новагорода: жители не высылали ко Лжедимитрию ни призывных грамот, ни Воевод связанных: там бодрствовал один человек, решительный, смелый — и еще верный! Сей витязь был Петр Федорович Басманов, брат убитого разбойниками (в 1604 году) Ивана Басманова, дотоле известный только чрезвычайно судьбою отца и деда, которые всем жертвуя Иоанновой милости, своею гибелию доказали Небесное правосудие: наследовав их дух Царедворческий, он соединял в себе великие способности ума и даже некоторые благородные качества сердца и совестью уклонною, нестроюю, будучи готов на добро и зло для первенства между людьми. Борис видел в юном Басманове только достоинства; вывел его, вместе с братом, из родовой опалы на степень знатности, в 1601 году дав ему сан Окольничего, и вместе с Боярином Князем Никитою Романовичем Трубецким послал было спасти Чернигов; но они за 15 верст до сего города сведения, что там уже Самозванец, и заключились в Новгороде. Тогда узнали Басманова! Великая опасность поставила его выше Боярина Трубецкого: приняв начальство в городе, где все колебалось от внушений измены или страха, он истиною и грозюю обуздal предательство: сам уверенный в обмане, уверил в нем и других; сам не боясь смерти, устранил мятежников казнию; сжег предместья, и с пятисотною дружиною стрельцов Московских заперся в крепости, волею или неволею взяв к себе и знатнейших жителей. 11 Ноября Лжедимитрий подступил к Новугороду: тут Россияне приветствовали его, в первый раз, ядрами и пулями! Он требовал переговоров: Басманов с зажженным фитилем стоял на стене и слушал клеветы Самозванцева Ляха Бучинского, который сказал, что Царь и Великий Князь Димитрий готов быть отцем воинов и жителей, если ему сдадутся, или, в случае упорства, не оставит живым ни грудного младенца в Новугороде. «Великий Князь и Царь в Москве, — ответственвал Басманов, — а ваш Димитрий разбойник сядет на кол вместе с вами». Отрепьев посылал и Российских изменников уговаривать Басманова, но бесполезно; хотел взять крепость смелым приступом и был отражен; хотел огнем разрушить ее стены, но не успел и в том; лишился многих людей, и видел бедствие пред собою: стан его уныл; Басманов давал время войску Борисову ополчиться и пример неробости иным градоначальникам.

Но добрые вести утешили Самозванца. В крепком Путивле

начальствовали знатный Окольничий Михайло Салтыков и Князь Василий Рубец-Мосальский: сей последний, как воин не без достоинства, как гражданин без чести и правил с Дьяком Сутуповым объявил себя за мнимого Царевича; сам возмутил граждан и ратников; сам связал Салтыкова и (18 Ноября), предав сие важное место расстриге, сделался с того времени любимцем его и советником. Не менее важный Рыльск, волость Комарницкая, или Севская, Борисов, Белгород, Волуйки, Оскол, Воронеж, Кромы, Ливны, Елец (где находился и ревностно действовал тогда Монах Леонид под именем Григория Отрепьева) также поддалися Самозванцу. Вся южная Россия кипела бунтом; везде вязали чиновников, едва ли искренно верных Борису, и представляли Лжедмитрию, который немедленно освобождал их и с милостию принимал к себе в службу. Рать его умножалась новыми толпами изменников. Перехватив казну, тайно везенную Московскими купцами в медовых бочках к начальникам Северских городов, он послал знатную часть ее в Литву к Князю Вишневецкому и Пану Рожинскому, чтобы набирать там новые дружины сподвижников; а сам еще стоял под Новым городом, стрелял из больших пушек, разрушал стены. Басманов не слабел духом и мужествовал в счастливых вылазках; но видя разрушение крепости и зная, что войско Борисово идет спасти ее, он хитро заключил перемирие с Самозванцем, будто бы в ожидании вестей из Москвы, и во всяком случае обязываясь сдаться ему чрез две недели. Уже Самозванец считал Новгород своим и Басманова пленником.

Сии быстрые успехи обольщения поразили Годунова и всю Россию. Царь увидел, вероятно, свою ошибку — и сделал другую; увидел, что ему надлежало бы не обманывать людей знаками лицемерного презрения к расстриге, но готовым, сильным войском отразить его от нашей границы и не впускать в Северскую землю, где еще жил старый дух Литовский и где скопище злодеев, беглецов, слуг опальных, естественно ожидало мятежа как счастья; где народ и самые люди воинские, удивленные беспрепятственным входом Самозванца в Россию, могли, веря внушению его лазутчиков, думать, что Годунов действительно не смеет противиться истинному Иоаннову сыну. Новое доказательство, сколь ум обманчив в раздоре с совестью, и как хитрость, чуждая добродетели, запутывается в сетях собственных! Еще Борис мог бы исправить сию ошибку: сесть на бранного коня и самолично вести Россиян против злодея. Присутствие Венценовца, его великодушная смелость и доверенность без сомнения имели бы действие. Не рожденный Героем, Годунов однако ж с юных лет знал

войну; умел силою души своей оживлять доблесть в сердцах и спасти Москву от Хана, будучи только Правителем. За него были святость венца и присяги, навык повиновения, воспоминание многих государственных благодеяний — и Россия на поле чести не предала бы Царя расстриге. Но смятенный ужасом, Борис не дерзал идти навстречу к Дмитриевой тени: подозревал Бояр и вручил им судьбу свою, назвав главным Воеводою Мстиславского, добросовестного, лично мужественного, но более знатного, нежели искусного предводителя; велел строго людям ратным, всем без исключения, спешить в Брянск, а сам как бы укрывался в столице!

Одним словом, суд Божий гремел над державным преступником. Никто из Россиян до 1604 года не сомневался в убиении Дмитрия, который возрастал на глазах своего Углича и коего видел весь Углич мертвого, в течение пяти дней орошав его тело слезами: следственно Россияне не могли благоразумно верить воскресению Царевича; но они — *не любили Бориса!* Сие несчастное расположение готовило их быть жертвою обмана. Сам Борис ослабил свидетельство истины, казнив важнейших очевидцев Дмитриевой смерти и явно ложными показаниями затмив ее страшные обстоятельства. Еще многие знали верно сию истину в Угличе, в Пелыме, но там жила в сердцах ненависть к тирану. Всех громогласнее, как пишут, свидетельствовал в столице Князь Василий Шуйский, торжественно, на лобном месте, о несомнительной смерти Царевича, им виденного во гробе и в могиле. То же писал и Патриарх во все концы России, ссылаясь и на мать Дмитриеву, которая сама погребала сына. Но бессовестность Шуйского была еще в свежей памяти; знали и слепую преданность Иова к Годунову; слышали только имя Царицы-Инокини: никто не видался, никто не говорил с нею, снова заключенною в Пустыне Выксинской. Еще не имел примера в истории Самозванцев и не понимая столь дерзкого обмана; любя древнее племя Царей и с жадностию слушая тайные рассказы о мнимых добродетелях Лжедмитрия, Россияне тайно же передавали друг другу мысль, что Бог действительно каким-нибудь чудом, достойным Его правосудия, мог спасти Иоаннова сына для казни ненавистного хищника и тирана. По крайней мере сомневались и не изъявляли ревности стоять за Бориса. Расстрига с своими Ляхами уже господствовал в наших пределах, а воины отечества уклонялись от службы, шли неохотно в Брянск под знамена, и тем неохотнее, чем более слышали об успехах Лжедмитрия, думая, что сам Бог помогает ему. Так нелюбовь к Государю рождает нечувствительность и к государственной чести!

В сей опасности, уже явной, Борис прибегнул к двум средствам: к Церкви и к строгости. Он велел Иерархам петь вечную память Димитрию в храмах, а расстригу с его клеветами, настоящими и будущими, клясть всенародно, на амвонах и торжищах, как злого еретика, умышляющего не только похитить Царство, но и ввести в нем Латинскую Веру: следственно Борис уже знал или угадывал обет, данный Лжедимитрием Иезуитам и Легату Папскому. Хотя народ, видев слабость и повторство Святителей в исследовании Димитриева убиения, не мог иметь к ним беспредельной доверенности; но ужас анафемы должен был тронуть совесть людей набожных и вселить в них омерзение к человеку, отверженному церквию и преданному ею суду Божию. Второе средство также не осталось бесплодным. Издав указ, чтобы с каждых двухсот четвертей земли обработанной выходил ратник в поле с конем, доспехом и запасом — следственно убавив до половины число воинов, определенное Уставом Иоанновым, — Борис требовал скорости; писал, что владельцы богатые живут в домах, не заботясь о гибели Царства и церкви; грозил жестокою казнию ленивым и беспечным, не упоминая о злонамеренных, и действительно велел наказывать ослушных без пощады: лишением имени, темницею и кнутом; велел, чтобы и все слуги Патриаршие, Святительские и монастырские, годные для ратного дела, спешили к войску под опасением тяжкого гнева Царского в случае медленности. «Бывали времена, — сказано в сем определении Государственного совета, — когда и самые Иноки, Священники, Дяконы вооружались для спасения отечества, не жалея своей крови; но мы не хотим того: оставляем их в храмах, да молятся о Государе и государстве». Сии меры, угрозы и наказания недель в шесть соединили до пятидесяти тысяч всадников в Брянске, вместо полумиллиона, в 1598 году ополченного призывным словом Царя, *коего любила Россия!*

Но Борис еще оказал тогда великодушие. Шведский Король, враг Сигизмундов, слышав о Самозванце и вероломстве Ляхов, предлагал Царю союз и войско вспомогательное. Царь отвечал, что Россия не требует вспоможения иноземцев; что она при Иоанне в одно время воевала с Султаном, Литвою, Швециею, Крымом, и не должна бояться мятежника презренного. Борис знал, что в случае верности Россиян горсть Шведов ему не нужна, а в случае неверности бесполезна, ибо не могла бы спасти его.

Грозный час опыта наступал: нельзя было медлить, ибо Самозванец ежедневно усиливался и распространял свои мирные завоевания. Бояре, Князья Федор Иванович Мстиславский, Андрей

Телятевский, Дмитрий Шуйский, Василий Голицын, Михайло Салтыков, Окольничие Князь Михайло Кашин, Иван Иванович Годунов, Василий Морозов, выступили из Брянска, чтобы пресечь успехи измены и спасти Новгородскую крепость, которая одна противилась расстриге уже среди подвластной ему страны. Не только Годунов с мучительным волнением души следовал мыслями за Московскими знаменами, но и вся Россия сильно тревожилась в ожидании, чем Судьба решит столь важную прю между Борисом и ложным или неложным Димитрием: ибо не было общего удостоверения ни в войске, ни в Государстве. Мысль поднять руку на действительного сына Иоаннова или предаться дерзкому обманщику, клятому Церковию, равно ужасала сердца благородные. Многие и самые благороднейшие из Россиян, не любя Бориса, но гнушаясь изменою, хотели соблюсти данную ему присягу; другие, следуя единственно внушению страстей, только желали или не желали перемены Царя и не заботились об истине, о долге верноподданного; а многие не имели точного образа мыслей, готовясь думать, как велит случай. Если бы в сие время открылась проницанию наблюдателя и самая внутренность душ, то он, может быть, еще не решил бы для себя вопроса о вероятной удаче или неудаче Самозванцева дела: столь расположение умов было отчасти несогласно, отчасти неясно и нерешительно! Войско шло, повинувась Царской власти; но колебалось сомнением, толками, взаимным недоверием.

Приближаясь к Трубчевску, где уже славилось имя Димитриево, Воеводы Борисовы писали к Сендомирскому, чтобы он немедленно вышел из России, мирной с Литвою, оставив злодея расстригу на казнь, им заслуженную. Мнишек не ответственвал в надежде, что войско Борисово не обнажит меча: так думал Самозванец; так говорили ему изменники, сносясь с своими единомышленниками в полках Московских. 18 декабря, на берегу Десны, верстах в шести от стана Лжедимитриева, была перестрелка между отрядами того и другого войска; а на третий день легкая сшибка. Ни с которой стороны не изъявляли пылкой ревности: Самозванец ждал, кажется, чтобы рать Борисова, следуя примеру городов, связала и выдала ему своих начальников; а Мстиславский, чтобы неприятель ушел без битвы как слабейший, едва ли имея и 12000 воинов. Но не видали ни измены, ни бегства; перешло к Лжедимитрию только три человека из детей Боярских. Оставив Новгород и свой укрепленный стан, он выстроился на равнине, весьма неблагоприятной для войска малочисленного; оказывал спокойствие и бодрость; говорил речь к сподвижникам,

стараясь воспламенить их мужество; молился велегласно, воздев руки на небо, и дерзнул, как уверяют, громко произнести следующие слова: «Всевышний! Ты зришь глубину моего сердца. Если обнажаю меч несправедно и незаконно, то сокруши меня Небесным громом»... (увидим 17 Мая 1606 года!)... «Когда же я прав и чист душою, дай силу неодолимую руке моей в битве! А Ты, Мать Божия, буди покровом нашего воинства!» 21 Декабря началось дело, сперва не жаркое; но вдруг конница Польская с воплем устремила на правое крыло Россиян, где предводительствовали Князья Дмитрий Шуйский и Михайло Кашин: оно дрогнуло и в бегстве опрокинуло средину войска, где стоял Мстиславский: изумленный такою робостию и таким беспорядком, он удерживал мечом своих и неприятелей; бился в свалке; облился кровию и с пятнадцатью ранами упал на землю: дружина стрельцов едва спасла его от плена. Час был решительный: если бы Лжедмитрий общим нападением подкрепил удар смелых Ляхов, то вся рать Московская, как пишут очевидцы, представила бы зрелище срамного бегства; но он дал ей время опомниться: 700 Немецких всадников, верных Борису, удержали стремление неприятельских, и левое крыло наше уцелело. Тогда же Басманов вышел из крепости, чтобы действовать в тылу у Самозванца, который, слыша выстрелы позади себя и видя свой укрепленный стан в пламени, прекратил битву. Обе стороны вдруг отступили, Лжедмитрий хвалясь победою и четырьмя тысячами убитых неприятелей, а Борисовы Воеводы от стыда безмолвствуя, хотя и взяв несколько пленников. Чтобы менее стыдиться, Россияне выдумали басню: уверяли, что Ляхи испугали их коней, нарядясь в медвежьи шубы наыворот; иноземцы же, свидетели сего малодушного бегства, пишут, что Россияне не имели, казалось, ни мечей, ни рук, имея единственно ноги!

Однако ж мнимый победитель не веселился. Сия битва странная доказала не то, чего хотелось Самозванцу: Россияне сражались с ним худо, без усердия, но сражались; бежали, но от него, а не к нему. Он знал, что без их общего предательства ни Ляхи, ни Козаки не свергнут Бориса, и страшился быть между двумя огнями, двумя верными Воеводами, Мстиславским и Басмановым, который, видя отступление первого, снова заключился в крепости, готовый умереть в ее развалинах. На другой день присоединилось к Лжедмитрию 4000 Запорожцев, и войско Борисово удалилось к Стародубу Северскому, но для того, чтобы ожидать там других, свежих полков из Брянска, и могло чрез несколько дней возвратиться к Новугороду, обороняемому столь усиленно. Ревность наемников и союзников ослабела: Ляхи надеялись

вести своего Царя в Москву без кровопролития; увидели, что надобно ратоборствовать; не любили ни зимних походов, ни зимних осад — и как легкомысленно начали, так легкомысленно и кончили: объявили, что идут назад, будто бы исполняя указ Сигизмундов не воевать с Россиею в случае, если она будет стоять за Царя Годунова. Тщетно убеждал их Лжедмитрий не терять надежды: осталось не более четырехсот удалцов Польских; все другие бежали восвояси, а с ними и горестный Мнишек. Думая, что все погибло, и княжество Смоленское для него и Царство для Марины, сей ветреный старец еще дружественно простился с женихом ее и смело обещал ему возвратиться с сильнейшею ратю. Но Самозванец, едва ли уже веря нареченному тестю, еще верил счастью: с обрядами священными предав на поле сражения тела убитых, своих и неприятелей, и сняв осаду Новагорода, расположился станом в Комарницкой волости, занял Севский острог, спешил вооружать, кого мог: граждан и земледельцев. Рать Борисова не дала ему времени.

[1605 г.] Смятение Воевод Московских было столь велико, что они даже медлили известить Царя о битве: узнав от других все ее печальные обстоятельства, Борис (1 Генваря) послал Князя Василия Шуйского к войску, быть вторым предводителем оною, а чашника Вельяминова к раненому Мстиславскому, *ударить* ему *челом* за кровь, пролиянную им из усердия к святому отечеству, и сказать именем государя: «Когда ты, совершив знаменитую службу, увидишь образ Спасов, Богоматери, Чудотворцев Московских и наши Царские очи: тогда пожалуем тебя свыше твоего чаяния. Ныне шлем к тебе искусного врача, да будешь здрав и снова на коне ратном». Всем иным Воеводам Царь велел объявить свое неудовольствие за их преступное молчание, но войско уверить в милости. Чтобы блестящею наградою мужества оживить доблесть в сердцах Россиян, Борис, искренно довольный одним Басмановым, призвал его к себе, выслал знатнейших государственных сановников навстречу к Герою и собственные великолепные сани для торжественного въезда в Москву со всею Царскою пышностью; дал ему из своих рук тяжелое золотое блюдо, насыпанное червонцами, и 2000 рублей, множество серебряных сосудов из казны Кремлевской, доходное поместье и сан Боярина Думного. Столица и Россия обратили взор на сего нового Вельможу, ознаменованного вдруг и славою подвига и милостию Царскою; превозносили его необыкновенные достоинства — и любимец государев сделался любимцем народным, первым человеком своего времени в общем мнении. Но столь блестящая награда одного была

укоризною для многих и естественно рождала негодование зависти между знатными. Если бы Царь осмелился презреть устав Боярского старейшинства и дать главное Воеводство Басманову, то, может быть, спас бы свой Дом от гибели и Россию от бедствий: чего судьба не хотела! Призвав Басманова в Москву, вероятно, с намерением пользоваться его советами в Думе, Царь отнял лучшего Воеводу у рати и сделал, кажется, новую ошибку, избрав Шуйского в начальники. Сей Князь, подобно Мстиславскому, мог не робеть смерти в битвах, но не имел ни ума, ни души вождя истинного, решительного и смелого; уверенный в самозванстве бродяги, не думал предать ему отечества, но, угождая Борису как Царедворец льстивый, помнил свои опалы: видел, может быть, не без тайного удовольствия муку его тиранского сердца, и желая спасти честь России, зложелательствовал Царю.

Шуйский, провождаемый множеством чиновных Стольников и Стряпчих, нашел войско близ Стародуба в лесах, между засеками, где оно, усиленное новыми дружинами, как бы таилось от неприятеля, в бездействии, в унынии, с предводителем недужным; другая запасная рать под начальством Федора Шереметева собиралась близ Кром, так что Борис имел в поле не менее осьмидесяти тысяч воинов. Мстиславский, еще изнемогая от ран, и Шуйский немедленно двинулись к Севску, где Лжедмитрий не хотел ждать их: смелый отчаянием, вышел из города и встретился с ними в Добрыничах. Силы были несоразмерны: у него 15000, конных и пеших; у Воевод Борисовых 60 или 70 тысяч. Узнав, что полки наши теснятся в деревне, он хотел ночью зажечь ее и врасплох нагрянуть на сонных: тамошние жители взялись подвести его к селению незаметно; но стражи увидели сие движение: сделалась тревога, и неприятель удалился. Ждали рассвета (21 Января), Самозванец молился, говорил речь к своим, как и в день Новгородской битвы; разделил войско на три части: для первого удара взял себе 400 Ляхов и 2000 Россиян всадников, которые все отличались белою одеждою сверх лат, чтобы знать друг друга в сече: за ними должны были идти 8000 Козаков, также всадников, и 4000 пеших воинов с пушками. Утром началась сильная пальба. Россияне, столь многочисленные, не шли вперед, с обеих сторон примыкая к селению, где стояла их пехота. Оглядев устройство Московских Воевод, Лжедмитрий сел на борзого карего аргамака, держа в руке обнаженный меч, и повел свою конницу долиною, чтобы стремительным нападением разрезать войско Борисово между селением и правым крылом. Мстиславский, слабый и томный, был на коне: угадал мысль неприятеля и двинул сие крыло, с иноземною

дружиною, к нему навстречу. Тут расстрига, как истинный витязь, оказал смелость необыкновенную: сильным ударом смял Россиян и погнал их; сломил и дружину иноземную, несмотря на ее мужественное блестящее сопротивление, и кинулся на пехоту Московскую, которая стояла пред деревнею с огнестрельным снарядом — и не трогалась, как бы в оцепенении; ждала и вдруг залпом из сорока пушек, из десяти или двенадцати тысяч ружей, поразила неприятеля: множество всадников и коней пало; кто уцелел, бежал назад в беспомощности страха — и сам Лжедмитрий. Уже Козаки его неслись было во всю прыть довершить легкую победу своего Героя; но видя, что она не их, обратили тыл, сперва Запорожцы, а после и Донцы; и пехота. 5000 Россиян и Немцы с кликом: *Hilf Gott (помоги Бог)*, гнали, разили бегущих на пространстве осьми верст, убили тысяч шесть, взяли немало и пленников, 15 знамен, 13 пушек; наконец истребили бы всех до единого, если бы Воеводы, как пишут, не велели им остановиться, думая, вероятно, что все кончено и что сам Лжедмитрий убит. С сею счастливою вестью прискакал в Москву сановник Шеин и нашел Царя молящегося в Лавре Св. Сергия...

Борис затрепетал от радости; велел петь благодарственные молебны, звонить в колокола и представить народу трофеи: знамена, трубы и бубны Самозванцев; дал гонцу сан Окольникового, послал с любимым Стольником, Князем Мезецким, золотые медали Воеводам, а войску 80000 рублей и писал к первым, что ждет от них вестей о конце мятежа, будучи готов отдать верным слугам и последнюю свою рубашку; в особенности благодарил усердных иноземцев и двух их предводителей, Вальтера Розена, Ливонского Дворянина, и Француза Якова Маржерета; наконец изъявлял живейшее удовольствие, что победа стоила нам недорого: ибо мы лишились в битве только пятисот Россиян и двадцати пяти Немцев.

Но Самозванец был жив: победители, безвременно веселясь и торжествуя, упустили его: он на раненом коне ускакал в Севск и в ту же ночь бежал далее, в город Рыльск, с немногими Лядами, с Князем Татевым и с другими изменниками. В следующий день явились к нему рассеянные Запорожцы: Самозванец не впустил их в город как малодушных трусов или предателей, так что они с досадою и стыдом ушли восвояси. Не видя для себя безопасности и в Рыльске, Лжедмитрий искал ее в Путивле, лучше укрепленном и ближайшем к границе; а Воеводы Борисовы все еще стояли в Добрыничах, занимаясь казнями: вешали пленников (кроме Литовских, пана Тишкевича и других, посланных в Москву); мучили, расстреливали земледельцев,

жителей Комарницкой волости, за их измену, безжалостно и безрассудно, усиливая тем остервенение мятежников, ненависть к Царю и доброе расположение к обманщику, который миловал и самых усердных слуг своего неприятеля. Сия жестокость, вместе с оплошностью Воевод, спасли злодея. Уже лишенный всей надежды, разбитый наголову, почти истребленный, с горстиею беглецов унылых, он хотел тайно уйти из Путивля в Литву: изменники отчаянные удержали его, сказав: «мы всем тебе жертвовали, а ты думаешь только о жизни постыдной, и предаешь нас мести Годунова; но еще можем спастися, выдав тебя живого Борису!» Они предложили ему все, что имели: жизнь и достояние; ободрили его; ручались за множество своих единомышленников и в полках Борисовых и в государстве. Не менее ревности оказали и Козаки донские: их снова пришло к Самозванцу 4000 в Путивль; другие засели в городах и клялись оборонять их до последнего издыхания. Лжедмитрий волею и неволею остался; послал Князя Татова к Сигизмунду требовать немедленного вспоможения; укреплял Путивль и, следуя совету изменников, издал новый манифест, рассказывая в нем свою вымышленную историю о Димитриевом спасении, свидетельствуясь именем людей умерших, особенно даром Князя Ивана Мстиславского, крестом драгоценным, и прибавляя, что он (Димитрий) тайно воспитывался в Белоруссии, а после тайно же был с канцлером Сапегою в Москве, где видел хищника Годунова сидящего на престоле Иоанновом. Сей второй манифест, удовлетворяя любопытству баснями, дотоле неизвестными, умножил число друзей Самозванца, хотя и разбитого. Говорили, что Россияне шли на него только принужденно, с неизъяснимою боязнию, внушаемою чем-то сверхъестественным, без сомнения Небом; что они победили случайно, и не устояли бы без слепого остервенения Немцев; что Провидение очевидно хотело спасти сего витязя и в самой несчастной битве; что он и в самой крайности не оставлен Богом, не оставлен верными слугами, которые, признав в нем истинного Димитрия, еще готовы жертвовать ему собою, женами, детьми, и конечно не могли бы иметь столь великого усердия к обманщику. Такие разглашения сильно действовали на легковерных, и многие люди, особенно из Комарницкой волости, где свирепствовала месть Борисова, стекались в Путивль, требуя оружия и чести умереть за Димитрия.

Между тем Воеводы Царские — сведав, что Самозванец не истреблен, — тронулись с места, приступили к Рыльску и, не обещая никому помилования, хотели, чтобы город сдался без условия. Там начальствовали злые изменники, Князь Григорий Долгорукий-Роща и

Яков Змеев: видя пред собою виселицу, они велели сказать Мстиславскому: «служим Царю Димитрию» — и залпом из всех пушек доказали свою непреклонность. Воеводы стояли две недели под городом, хвалились не вовремя человеколюбием, жалели крови и решились дать отдохновение войску, действительно утружденному зимним походом; отступили в Комарницкую волость и донесли Царю, что будут ждать там весны в покойных станах. Но Борис, после кратковременной радости встревоженный известиями о спасении Лжедмитрия и новых прельщениях измены, досадуя на Мстиславского и всех его сподвижников, послал к ним в острог Радогостский Окольничего Петра Шереметева и думного Дьяка Власьева с дружиною Московских Дворян и с гневным словом: укорял их в нерадении, винил в упущении Самозванца из рук, в бесполезности победы и произвел всеобщее негодование в войске. Жаловались на жестокость и несправедливость Царя те, которые дотоле верно исполняли присягу, обагрились кровию в битвах, изнемогли от трудов ратных; еще более жаловались зломысленники, чтобы усиливать нелюбовь к Царю — и могли хвалиться успехом: ибо с сего времени, по известию Летописца, многие чиновники воинские видимо склонялись к Самозванцу, и желание *избыть Бориса* овладело сердцами. Измена возникала, но еще не созрела до мятежа; еще наблюдалось, хотя и неохотно, повиновение законное. Следуя строгому предписанию Государеву, Мстиславский и Шуйский снова вывели войско в поле, чтобы удивить Россию ничтожностью своих действий: оставили Лжедмитрия на свободе в Путивле, соединились с запасною ратиею Федора Шереметева, уже две или три недели теснившего Кромы, и вместе с ним, в Великий Пост, начали осаждать сию крепость. Дело невероятное: тысяч восемьдесят или более ратников, имея множество стенобитных орудий, без успеха приступало к деревянному городку, ибо в нем, сверх жителей, сидело 600 мужественных Донцов, с храбрым Атаманом Корелою! Осаждающие ночью сожгли город, заняли пепелище и вал; но Козаки сильною, меткою стрельбою не допускали их до острога, и Боярин Михайло Глебович Салтыков, или малодушный или уже предатель, не сказав ни слова главным Воеводам, велел рати отступить в тот час, когда ей должно было устремиться на последнюю ограду изменников. Мстиславский и Шуйский не дерзнули наказать виновного, уже видя худое расположение в сподвижниках — и с сего дня, в надежде взять крепость голодом, только стреляли из пушек, не вредя осажденным, которые выкопали себе землянки и под защитою вала укрывались в них безопасно; иногда же выползали из своих нор и делали смелые

вылазки. Между тем войско, стоя на снегу и в сырости, было жертвою повальной болезни: смертоносного мыта. Сие бедствие еще оказало достохвальную заботливость Царя, приславшего в стан лекарства и все нужное для спасения болящих, но умножило нерадивость осады, так что в белый день 100 возов хлеба и 500 Козаков Лжедмитриевых из Путивля могли пройти в обожженные Кромы.

Досадуя на замедление воинских действий, Борис хотел иным способом, как пишут современники, избавить себя и Россию от злодея. Три Инока, знавшие Отрепьева Диаконем, явились в Путивле (8 Марта) с грамотами от Государя и Патриарха к тамошним жителям: первый обещал им великие милости, если они выдадут ему Самозванца, живого или мертвого; второй грозил страшным действием церковной анафемы. Сих Монахов схватили и привели к Лжедмитрию, который употребил хитрость: вместо его в Царском одеянии на троне сидел поляк Иваницкий и, представляя лицо Самозванца, спросил у них: «Знаете ли меня?» Монахи сказали: «Нет; знаем только, что ты во всяком случае не Димитрий». Их стали пытаться: двое терпели и молчали; а третий спас себя объявлением, что у них есть яд, коим они, исполняя волю Борисову, хотели уморить лжецаревича, и что некоторые из ближних его людей в заговоре с ними. Яд действительно нашелся в сапоге у младшего из сих Иноков, и Самозванец, открыв двух изменников между своими любимцами, предал их в жертву народной мести. Уверяют, что он, хвалясь явным небесным к нему благоволением, писал тогда к Патриарху и к самому Царю: укорял Иова злоупотреблением церковной власти в пользу хищника, а Бориса убеждал мирно оставить престол и свет, заключиться в монастыре и жить для спасения души, обещая ему свою Царскую милость. Такое письмо, если действительно писанное и доставленное Годунову, было конечно новым искушением для его твердости!

Душа сего властолюбца жила тогда ужасом и притворством. Обманутый победою в ее следствиях, Борис страдал, видя бездействие войска, нерадивость, неспособность или зломыслие Воевод и, боясь сменить их, чтобы не избрать худших; страдал, внимая молве народной, благоприятной для Самозванца, и не имея силы унять ее, ни снисходительными убеждениями, ни клятвою Святительскою, ни казнию: ибо в сие время уже резали языки нескромным. Доносы ежедневно умножались, и Годунов страшился жестокостию ускорить общую измену: еще был Самодержцем, но чувствовал оцепенение власти в руке своей и с престола, еще окруженного льстивыми рабами, видел открытую для себя бездну! Дума и Двор не изменялись наружно:

в первой текли дела как обыкновенно; второй блистал пышностью, как и дотоле. Сердца были закрыты: одни таили страх, другие злорадство; а всех более должен был принуждать себя Годунов, чтобы унынием и расслаблением духа не предвестить своей гибели — и, может быть, только в глазах верной супруги обнаруживал сердце: казал ей кровавые, глубокие раны его, чтобы облегчать себя свободным стенанием. Он не имел утешения чистейшего: не мог предаться в волю Святого Провидения, служа только идолу властолюбия: хотел еще наслаждаться плодом Димитриева убиения и дерзнул бы, конечно, на злодеяние новое, чтобы не лишиться приобретенного злодейством. В таком ли расположении души утешается смертный Верою и надеждою Небесною? Храмы были отверсты: Годунов молился — богу неумолимому для тех, которые не знают ни добродетели, ни раскаяния! Но есть предел мукам — в бренности нашего естества земного.

Борису исполнилось 53 года от рождения: в самых цветущих летах мужества он имел недуги, особенно жестокою подагрой, и легко мог, уже стареясь, истощить свои телесные силы душевным страданием. Борис 13 Апреля, в час утра, судил и рядил с Вельможами в Думе, принимал знатных иноземцев, обедал с ними в золотой палате и, едва встав из-за стола, почувствовал дурноту: кровь хлынула у него из носу, ушей и рта; лилась рекою: врачи, столь им любимые, не могли остановить ее. Он терял память, но успел благословить сына на Государство Российское, воспринять Ангельский Образ с именем Боголепа и чрез два часа испустил дух, в той же храмине, где пировал с Боярами и с иноземцами...

К сожалению, потомство не знает ничего более о сей кончине, разительной для сердца. Кто не хотел бы видеть и слышать Годунова в последние минуты *такой* жизни — читать в его взорах и в душе, смятенной незапным наступлением вечности? Пред ним были трон, венец и могила: супруга, дети, ближние, уже обреченные жертвы Судьбы; рабы неблагодарные, уже с готовою изменою в сердце; пред ним и Святое Знамение Христианства: образ Того, Кто не отвергает, может быть, и позднего раскаяния!.. Молчание современников, подобно непроницаемой завесе, сокрыло от нас зрелище столь важное, столь нравоучительное, позволяя действовать одному воображению.

Уверяют, что Годунов был самоубийцею, в отчаянии, лишив себя жизни ядом; но обстоятельства и род его смерти подтверждают ли истину сего известия? И сей нежный отец семейства, сей человек сильный духом, мог ли, спасаясь ядом от бедствия, малодушно оставить жену и детей на гибель, почти несомнительную? И торжество

Самозванца было ли верно, когда войско еще не изменяло Царю делом; еще стояло, хотя и без усердия, под его знаменами? Только смерть Борисова решила успех обмана; только изменники, явные и тайные, могли желать, *могли ускорить* ее — но всего вероятнее, что удар, а не яд прекратил бурные дни Борисовы, к истинной скорби отечества: ибо сия безвременная кончина была небесною казнию для России еще более, нежели для Годунова: он умер по крайней мере на троне, не в узах пред беглым Дяконом, как бы еще в воздаяние за государственные его благодеяния; Россия же, лишенная в нем Царя умного, попечительного, сделалась добычею злодейства на многие лета.

Но имя Годунова, одного из разумнейших властителей в мире, в течение столетий было и будет произносимо с омерзением, во славу нравственного неуклонного правосудия. Потомство видит лобное место обгаренное кровию невинных, Св. Димитрия издыхающего под ножом убийц, Героя Псковского в петле, столь многих Вельмож в мрачных темницах и келиях; видит гнусную мзду, рукою Венценосца предлагаемую клеветникам-доносителям; видит систему коварства, обманов, лицемерия пред людьми и Богом... везде личину добродетели, и где добродетель? В правде ли судов Борисовых, в щедрости, в любви к гражданскому образованию, в ревности к величию России, в политике мирной и здоровой? Но сей яркий для ума блеск хладен для сердца, удостоверенного, что Борис не усомнился бы ни в каком случае действовать вопреки своим мудрым государственным правилам, если бы властолюбие потребовало от него такой перемены. Он *не был*, но *бывал* тираном; не безумствовал, но злодействовал подобно Иоанну, устраняя совместников или казня недоброжелателей. Если Годунов на время благоустроил Державу, на время возвысил ее во мнении Европы, то не он ли и ввергнул Россию в бездну злополучия, почти неслыханного — предал в добычу Ляхам и бродягам, вызвал на феатр сонм мстителей, и самозванцев истреблением древнего племени Царского? Не он ли, наконец, более всех содействовал уничтожению престола, воссев на нем святоубийцею?

Глава III

Царствование Феодора Борисовича Годунова. 1605 г.

Присяга Феодору. Достоинства юного Царя. Избрание Басманова в Военачальники. Присяга войска. Измена Басманова. Самозванец усиливается. Измена Голицыных и Салтыкова. Измена войска. Поход к

Москве. Оцепенение умов в столице. Измена Москвитян. Сведение Феодора с престола. Присяга Лжедмитрию. Заточение Патриарха и Годуновых. Цареубийство.

Еще Россияне погребли Бориса с честью во храме Св. Михаила, между памятниками своих Венценосцев Варяжского племени; еще Духовенство льстило ему и в могиле: Святители в окружных грамотах к монастырям писали о *беспорочной и праведной душе его, мирно отшедшей к Богу!* Еще все, от Патриарха и Синклита до мещан и земледельцев, с видом усердия присягнули «Царице Марии и детям ее, Царю Феодору и Ксении, обязываясь страшными клятвами не изменять им, не умышлять на их жизнь и не хотеть на Государство Московское ни бывшего Великого Князя Тверского, слепца Симеона, ни злодея, именующего себя Димитрием; не избегать Царской службы и не бояться в ней ни трудов, ни смерти». Достигнув венца злодейством, Годунов был однако ж Царем законным: сын естественно наследовал права его, утвержденные *двукратною* присягою, и как бы давал им новую силу прелестию своей невинной юности, красоты мужественной, души равно твердой и кроткой; он соединял в себе ум отца с добродетелию матери и шестнадцати лет удивлял вельмож даром слова и сведениями необыкновенными в тогдашнее время: первым счастливым плодом Европейского воспитания в России; рано узнал и науку правления, отроком заседал в Думе; узнал и сладость благодеяния, всегда употребляемый родителем в посредники между законом и милостию. Чего нельзя было ожидать Государству от такого Венценосца? Но тень Борисова с ужасными воспоминаниями омрачала престол Феодоров: ненависть к отцу препятствовала любви к сыну. Россияне ждали только бедствий от злого племени, в их глазах опального пред Богом, и страшась быть жертвою Небесной казни за Годунова, не утрастились подвергнуться сей казни за преступление собственное: за вероломство, осуждаемое уставом Божественным и человеческим.

Еще Феодор, столь юный, имел нужду в советниках: мать его блистала единственно скромными добродетелями своего пола. Немедленно велели трем знатнейшим Боярам, Князьям Мстиславскому, Василию и Дмитрию Шуйским, оставить войско и быть в Москву, чтобы Правительствовать в Синклите; возвратили свободу, честь и достояние славному Бельскому, чтобы также пользоваться его умом и сведениями в Думе. Но всего важнее было избрание главного Воеводы:

искали уже не старейшего, а способнейшего, и выбрали — Басманова, ибо не могли сомневаться ни в его воинских дарованиях, ни в верности, доказанной делами блестящими. Юный Феодор в присутствии матери сказал ему с умилением: «служи нам, как ты служил отцу моему» и сей честолюбец, пылая (так казалось) чувством усердия, клялся умереть за Царя и Царицу! Басманову дали в товарищи одного из знатнейших Бояр, Князя Михаила Катырева-Ростовского, доброго и слабодушного. Послали с ними и Митрополита Новгородского, Исидора, чтобы войско в его присутствии целовало крест на имя Феодора. Несколько дней прошло в тишине для столицы. Двор и народ торжественно молились о душе Царя усопшего; гораздо искренне молились истинные друзья отечества о спасении Государства, предвидя бурю. С нетерпением ждали вестей из Кромского стана и первые донесения новых Воевод казались еще благоприятными.

Невидимо держа в руке судьбу отечества, Басманов 17 Апреля прибыл в стан и не нашел там уже ни Мстиславского, ни Шуйских; созвал всех, чиновников и рядовых, под знамена; известил их о воцарении Феодора и прочитал им грамоты его, весьма милостивые: юный Монарх обещал верному, усердному войску беспримерные награды после сорочин Борисовых. Сильное внутреннее движение обнаружилось на лицах: некоторые плакали о Царе усопшем, боясь за Россию; другие не таили злой радости. Но войско, подобно Москве, присягнуло Феодору. С сим известием Митрополит Исидор возвратился в столицу: сам Басманов доносил о том... а чрез несколько дней узнали его измену!

Удивив современников, дело Басманова удивляет и потомство. Сей человек имел душу, как увидим в роковой час его жизни; не верил Самозванцу; столь ревностно обличал его и столь мужественно разил его под стенами Новагорода Северского; был осыпан милостями Бориса, удостоен всей доверенности Феодора, избран в спасители Царя и Царства, с правом на их благодарность беспредельную, с надеждою оставить блестящее имя в летописях — и пал к ногам расстриги в виде гнусного предателя? Изясним ли такое непонятное действие худым расположением войска? Скажем ли, что Басманов, предвидя неминуемое торжество Самозванца, хотел ускорением измены спасти себя от уничтожения: хотел лучше отдать и войско и Царство обманщику, нежели быть выданным ему мятежниками? Но полки еще клялись именем Божиим в верности к Феодору: какую новою ревностию мог бы одушевить их Воевода доблей, силою своего духа и закона обуздав зломысленников? Нет, верим сказанию Летописца, что

не общая измена увлекла Басманова, но Басманов произвел общую измену войска. Сей честолюбец без правил чести, жадный к наслаждениям временщика, думал, вероятно, что гордые, завистливые родственники Феодоровы никогда не уступят ему ближайшего места к престолу, и что Самозванец безродный, им (Басмановым) возведенный на Царство, естественно будет привязан благодарностию и собственною пользою к главному виновнику своего счастья: судьба их делалась нераздельною и кто мог затмить Басманова достоинствами личными? Он знал других Бояр и себя: не знал только, что сильные духом падают как младенцы на пути беззакония! Басманов, вероятно, не дерзнул бы изменить Борису, который действовал на воображение и долговременным повелительством и блеском великого ума государственного: Феодор, слабый юностию лет и новостью державства, вселял смелость в предателя, вооруженного суемудрием для успокоения сердца: он мог думать, что изменою спасает Россию от ненавистной олигархии Годуновых, вручая скипетр хотя и Самозванцу, хотя и человеку низкого происхождения, но смелому, умному, другу знаменитого Венценовца Польского, и как бы избранному Судьбою для совершения достойной мести над родом святоубийцы; мог думать, что направит Лжедмитрия на путь добра и милости: обманет Россию, но загладит сей обманею счастьем! Может быть, Басманов выехал из столицы еще в нерешимости, готовый действовать по обстоятельствам, для выгод своего честолюбия; может быть, он решился на измену единственно тогда, как увидел преклонность и Воевод и войска к обманщику. Все целовали крест Феодору (ибо никто не дерзнул быть первым мятежником), но большею частию с нехотением или с унынием. И те, которые дотолде не верили мнимому Димитрию, стали верить ему, будучи поражены незапною смертию Годунова и находя в ней новое доказательство, что не Самозванец, а действительно наследник Иоаннов требует своего законного достояния: ибо Всевышний, как они думали, несомнительно благоволил о нем и ведет его, чрез могилу хищника, на Царство. Заметили также, что в присяге Феодоровой Самозванец не был именован Отрепьевым: слагатели ее, вероятно, без умысла, написали единственно: *клянемся не приставать к тому, кто именует себя Димитрием*. «Следственно, говорили многие, сказка о беглом Диаконе Чудовском уже торжественно объявляется вымыслом. Кто же сей Димитрий, если не истинный?» Самые верные имели печальную мысль, что Феодору не удержаться на престоле. Такое расположение умов и сердец обещало легкий успех измене: Басманов наблюдал, решился и, готовя Россию в дар

обманщику, без сомнения удостоверился, посредством тайных сношений, в его благодарности.

Оставленный на свободе в Путивле, Лжедмитрий в течение трех месяцев укреплял свои города и вооружал людей; писал к Мнишку, что надеется на счастье более, нежели когда-нибудь; посылал дары к Хану, желая заключить с ним союз; ждал новых сподвижников из Галиции и был усилен дружиною всадников, приведенных к нему Михайлом Ратомским, который уверял его, что вслед за ним будет и Воевода Сендомирский с Королевскими полками. Но только смерть Борисова, только измена Воевод Царских могла исполнить дерзкую надежду расстриги: о первой сведал он в конце Апреля от беглеца Дворянина Бахметева; о второй в начале мая, вероятно от самого Басманова и с того времени знал все, что происходило в стане Кромском.

Отдав честь мужа думного и славу знаменитого витязя за прелесть исключительного вельможства под скиптром бродяги, Басманов, уверенный в сей награде, уверил в ней и других низких самолюбцев: Боярина Князя Василия Васильевича Голицына, брата его, Князя Ивана, и Михайла Глебовича Салтыкова, которые также не имели ни совести, ни стыда и также хотели быть временщиками нового Царствования в воздаяние за гнусное злодейство. Но и злодеи ищут благовидных предлогов в своих ковах: обманывая друг друга, лицемеры находили в Лжедмитрии все признаки истинного, добродетели Царские и свойства души высокой; дивились чудесной судьбе его, ознаменованной Перстом Божиим; злословили Царство Годуновых, снисканное лукавством и беззаконием; оплакивали бедствие войны междоусобной и кровопролитной, необходимой для удержания короны на слабой главе Феодоровой, и в торжестве расстриги видели пользу, тишину, счастье России. Они условились в предательстве и спешили действовать. Еще несколько дней коварствовали втайне, умножая число надежных единомышленников (между коими отличались ревностью Боярские Дети городов Рязани, Тулы, Коширы, Алексина); успокаивали совесть людей малоумных, недаленовидных, твердя и повторяя, что для Россиян одна присяга законная: данная ими Иоанну и детям его; что новейшие, взятые с них на имя Бориса и Феодора, суть плод обмана и недействительны, когда сын Иоаннов не умирает и здравствует в Путивле. Наконец, 7 Мая, заговор открылся: ударили тревогу; Басманов сел на коня и громогласно объявил Димитрия Царем Московским. Тысячи воскликнули, и Рязанцы первые: «Да здравствует же отец наш, государь Димитрий Иоаннович!» Другие еще безмолвствовали в изумлении. Тогда единственно проснулись Воеводы

верные, обманутые коварством Басманова: Князя Михайло Катырев-Ростовский, Андрей Телятевский, Иван Иванович Годунов; но поздно! Видя малое число усердных к Феодору, они бежали в Москву, вместе с некоторыми чиновниками и воинами, Россиянами и чужеземцами: их гнали, били; настигли Ивана Годунова и связанного привели в стан, где войско в несчастном заблуждении торжествовало измену как светлый праздник отечества. Никто не смел изъявить сомнения, когда знаменитейший противник Самозванца, Герой Новгорода-Северского, уже признал в нем сына Иоаннова и радость, видеть снова на троне древнее племя Царское, заглушала упреки совести для обольщенных вероломцев!.. В сей памятный беззаконием день первенствовал Басманов дерзким злодейством, а другой изменник подлым лукавством: Князь Василий Голицын велел связать себя, желая на всякий случай уверить Россию, что предается обманщику невольно!

Нарушив клятву, войско с знаками живейшего усердия обязалось другою: изменив Феодору, быть верным мнимому Димитрию, и дало знать Атаману Кореле, что они служат уже одному Государю. Война прекратилась: Кромские защитники выползли из своих нор и братски обнимались с бывшими неприятелями на валу крепости; а Князь Иван Голицын спешил в Путивль, уже не к *Царевичу*, а к *Царю, с повинною* от имени войска и с узником Иваном Годуновым в залог верности. Лжедимитрий имел нужду в необыкновенной душевной силе, чтобы скрыть свою чрезмерную радость: важно, величаво сидел на троне, когда Голицын, провождаемый множеством сановников и Дворян, смиренно бил ему челом, и с видом благоговения говорил так:

«Сын Иоаннов! Войско вручает тебе державу России и ждет твоего милосердия. Обольщенные Борисом, мы долго противились нашему Царю законному: ныне же, узнав истину, все единодушно тебе присягнули. Иди на престол родительский; Царствуй счастливо и многие лета! Враги твои, клеветы Борисовы, в узах. Если Москва дерзнет быть строптивою, то смирим ее. Иди с нами в столицу, венчаться на Царство!..» В сей самый час, по известию Летописца, некоторые Дворяне Московские, смотря на Лжедимитрия, узнали в нем Дякона Отрепьева: содрогнулись, но уже не смели говорить и плакали тайно. Хитро представляя лицо Монарха великодушного, тронутого раскаянием виновных подданных, счастливый обманщик не благодарил, а только простил войско; велел ему идти к Орлу и сам выступил туда 19 Мая из Путивля с 600 Ляхов, с Донцами и своими Россиянами, старейшими других в измене; хотел видеть развалины Кром, прославленные мужеством их защитников, и там, оглядев пепелище,

вал, землянки Козаков и необозримый, укрепленный стан, где в течение шести недель более осьмидесяти тысяч добрых воинов за семидесятью огромными пушками укрывалось в бездействии, изъявил удивление и хвалился чудом Небесной к нему милости. Далее на пути встретили расстригу Воеводы Михайло Салтыков, Князь Василий Голицын, Шереметев и глава предательства Басманов... сей последний с искреннею клятвою умереть за того, кому он жертвовал совестью и бедным отечеством! Единодушно принятый войском как Царь благодатный, Лжедмитрий распустил часть его на месяц для отдохновения, другую послал к Москве, а сам с двумя или тремя тысячами надежнейших сподвижников шел тихо вслед за нею. Везде народ и люди воинские встречали его с дарами; крепости, города сдавались: из самой отдаленной Астрахани привезли к нему в цепях Воеводу Михаила Сабурова, ближнего родственника Феодорова. Только в Орле горсть великодушных не хотела изменить закону: сих достойных Россиян, к сожалению, не известных для истории, ввергнули в темницу. Все другие ревностно преклоняли колена, славили Бога и Дмитрия, как некогда Героя Донского или завоевателя Казани! На улицах, на дорогах теснились к его коню, чтобы лобызать ноги Самозванца! Все было в волнении, не ужаса, но радости. Исчез оплот стыда и страха для измены: она бурною рекою стремилась к Москве, неся с собою гибель Царю и народной чести. Там первыми вестниками злополучия были беглецы добросовестные, Воеводы Катырев-Ростовский и Телятевский с их дружинами. Феодор, еще пользуясь Царскою властью, изъявил им благодарность отечества торжественными наградами как бы спокойно ждал своего жребия на бедственном троне, видя вокруг себя уже не многих друзей искренних, отчаяние, недоумение, притворство, а в народе еще тишину, но грозную: готовность к великой перемене, тайно желаемой сердцами. Может быть, зломыслие и лукавство некоторых думных советников, благоприятствуя Самозванцу, усыпляли жертву накануне ее заклятия: обманывали Феодора, его мать и ближних, уменьшая опасность или предлагая меры недействительные для спасения. Власть верховная дремала в палатах Кремлевских, когда Отрепьев шел к столице, когда имя Дмитрия уже гремело на берегах Оки, когда на самой Красной площади толпился народ, с жадностью слушая вести о его успехах. Еще были Воеводы и воины верные: юный Стратиг державный в виде Ангела красоты и невинности, еще мог бы смело идти с ними на сонмы ослепленных клятвопреступников и на подлого расстригу: в деле законном есть сила особенная, непонятная и страшная для беззакония. Но если не коварство, то чудное оцепенение

умов предавало Москву в мирную добычу злодейству. Звук оружия и движения ратные могли бы дать бодрость унылым и страх изменникам; но спокойствие, ложное, смертоносное, господствовало в столице и служило для козней вождленным досугом. Деятельность Правительства оказывалась единственно в том, что ловили гонцов с грамотами от войска и Самозванца к Московским жителям: грамоты жгли, гонцов сажали в темницу; наконец не устерегли, и в один час все совершилось!

Лжедмитрий, угадывая, что его письма не доходят до Москвы, избрал двух сановников смелых, расторопных, Плещеева и Пушкина: дал им грамоту и велел ехать в Красное село, чтобы возмутить тамошних жителей, а чрез них и столицу. Сделалось, как он думал. Купцы и ремесленники Красносельские, плененные доверенностию мнимого Дмитрия, присягнули ему с ревностию и торжественно ввели гонцов его (1 Июня) в Москву, открытую, безоружную: ибо воины, высланные Царем для усмирения сих мятежников, бежали назад, не обнажив меча; а Красносельцы, славя Дмитрия, нашли множество единомышленников в столице, мещан и людей служивых; других силою увлекли за собою: некоторые пристали к ним только из любопытства. Сей шумный сонм стремился к лобному месту, где, по данному знаку, все умолкло, чтобы слушать грамоту Лжедмитриеви к Синклиту, к большим Дворянам, сановникам, людям приказным, воинским, торговым, *средним* и черным. «Вы клялися отцу моему, — писал расстрига, — не изменять его детям и потомству во веки веков, но взяли Годунова в Цари. Не упрекаю вас: вы думали, что Борис умертвил меня в летах младенческих; не знали его лукавства и не смели противиться человеку, который уже самовластвовал и в Царствование Феодора Иоанновича, — жаловал и казнил, кого хотел. Им обольщенные, вы не верили, что я, спасенный Богом, иду к вам с любовью и кротостию. Драгоценная кровь лилася... Но жалею о том без гнева: неведение и страх извиняют вас. Уже судьба решилась: города и войско мои. Дерзните ли на брань междоусобную в угодность Марии Годуновой и сыну ее? Им не жаль России: они не своим, а чужим владеют; упитали кровию землю Северскую и хотят разорения Москвы. вспомните, что было от Годунова вам, Бояре, Воеводы и все люди знаменитые: сколько опал и бесчестия несносного? А вы, Дворяне и Дети Боярские, чего не претерпели в тягостных службах и в ссылках? А вы, купцы и гости, сколько утеснений имели в торговле и какими неумеренными пошлинами отягощались? Мы же хотим вас жаловать беспримерно: Бояр и всех мужей сановитых честию и новыми

отчинами, Дворян и людей приказных милостию, гостей и купцев льготою в непрерывное течение дней мирных и тихих. Дерзните ли быть непреклонными? Но от нашей Царской руки не избудете: иду и сяду на престоле отца моего; иду с сильным войском, своим и Литовским: ибо не только Россияне, но и чужеземцы охотно жертвуют мне жизнь. Самые неверные Ногаи хотели следовать за мною: я велел им остаться в степях, щадя Россию. Страшитесь гибели, временной и вечной; страшитесь ответа в день суда Божия: смиритесь, и немедленно пришлите Митрополитов, Архиепископов, мужей Думных, Больших Дворян и Дьяков, людей воинских и торговых, бить нам челом, как вашему Царю законному». Народ Московский слушал с благоговением и рассуждал так: «Войско и Бояре поддалися без сомнения не ложному Димитрию. Он приближается к Москве: с кем стоять нам против его силы? с горстию ли беглецов Кромских? с нашими ли старцами, женами и младенцами? и за кого? за ненавистных Годуновых, похитителей державной власти? Для их спасения предадим ли Москву пламени и разорению? Но не спасем ни их, ни себя сопротивлением бесполезным. Следственно не о чем думать: должно прибегнуть к милосердию Димитрия!»

И в то время, когда сие незаконное Вече располагало Царством, главные советники престола трепетали в Кремле от ужаса. Патриарх молил Бояр действовать, а сам, в смятении духа, не мыслил явиться на лобном месте в ризах Святительских, с крестом в деснице, с благословением для верных, с клятвою для изменников: он только плакал! Знатнейшие Бояре Мстиславский и Василий Шуйский, Бельский и другие думные советники вышли из Кремля к гражданам, сказали им несколько слов в увещание и хотели схватить гонцов Лжедимитриевых: народ не дал их и завопил: «Время Годуновых миновалось! Мы были с ним во тьме кромешной: солнце восходит для России! Да здравствует Царь Димитрий! Клятва Борисовой памяти! Гибель племени Годуновых!» С сим воплем толпы ринулись в Кремль. Стража и телохранители исчезли вместе с подданными для Феодора: действовали одни буйные мятежники; вломились во дворец и дерзостною рукою коснулись того, кому недавно присягали: стащили юного Царя с престола, где он искал безопасности! Мать злосчастная упала к ногам неистовых и слезно молила не о Царстве, а только о жизни милого сына! Но мятежники еще страшились быть извергами: безвредно вывели Феодора, его мать и сестру из дворца в Кремлевский собственный дом Борисов и там приставили к ним стражу; всех родственников Царских, Годуновых, Сабуровых, Вельяминовых,

заклучили, имение их расхитили, дома сломали; не оставили ничего целого и в жилище иноземных медиков, любимцев Борисовых; хотели грабить и погребать казенные, но удержались, когда Бельский напомнил им, что все казенное уже есть Дмитриево. Сей пестун меньшого Иоаннова сына явился тогда вдруг главным советником народа, как злейший враг Годуновых, и вместе с другими Боярами, малодушными или коварными, старался утишить мятеж именем Царя нового. Все дали присягу Дмитрию, и (3 Июня) Вельможи, Князя Иван Михайлович Воротынский, Андрей Телятевский, Петр Шереметев, думный Дьяк Власев и другие знатнейшие чиновники, Дворяне, граждане выехали из столицы с повинною к Самозванцу в Тулу. Уже вестник Плещеева и Пушкина предупредил их; уже расстрига знал все, что сделалось в Москве, и еще не был спокоен: послал туда Князя Василия Голицина, Мосальского и Дьяка Сутупова с тайным наказом, а Петра Басманова с воинскою дружиною, чтобы мерзостным злодейством увенчать торжество беззакония.

Сии достойные слуги Лжедмитриевы, принятые в Москве как полновластные исполнители Царской воли, начали дело свое с Патриарха. Слабодушным участием в кознях Борисовых лишив себя доверенности народной, не имел мужества умереть за истину и за Феодора, онемев от страха и даже, как уверяют, вместе с другими Святителями *бив челом* Самозванцу, надеялся ли Иов снискать в нем срамную милость? Но Лжедмитрий не верил его бесстыдству; не верил, чтобы он мог с видом благоговения возложить Царский венец на своего беглого Дякона и для того Послы Самозванцевы объявили народу Московскому, что раб Годуновых не должен остаться Первосвятителем. Свергнув Царя, народ во дни беззакония не усомнился свергнуть и Патриарха. Иов совершал Литургию в храме Успения: вдруг мятежники неистовые, вооруженные копьями и дреколием, вбегают в церковь; не слушают божественного пения; стремятся в олтарь, хватают и влекут Патриарха; рвут с него одежду Святительскую... Тут несчастный Иов изъявил и смирение и твердость: сняв с себя панагию и положив ее к образу Владимирской Богоматери, сказал громогласно: «Здесь, пред сею святою иконою, я был удостоен сана Архиерейского и 19 лет хранил целость Веры: ныне вижу бедствие Церкви, торжество обмана и ереси. Матерь Божия! спаси православие!» Его одели в черную ризу, *таскали, позорили* в храме, на площади, и вывезли в телеге из города, чтобы заключить в монастыре Старицком. Удалив важнейшего свидетеля истины, противного Самозванцу, решили судьбу Годуновых, Сабуровых и Вельяминовых: отправили их

скованных в темницы городов дальних, Низовых и Сибирских (ненавистного Семена Годунова задавили в Переславле). Немедленно решили и судьбу державного семейства.

Юный Феодор, Мария и Ксения, сидя под стражею в том доме, откуда властолюбие Борисово извлекло их на феатр гибельного величия, угадывали свой жребий. Народ еще уважал в них святость Царского сана, может быть, и святость непорочности; может быть, в самом неистовстве бунта желал, чтобы мнимый Димитрий оказал великодушие и, взяв себе корону, оставил жизнь несчастным хотя в уединении какого-нибудь монастыря пустынного. Но великодушие в сем случае казалось расстриге несогласным с Политикою: чем более достоинств личных имел сверженный, законный Царь, тем более он мог страшить лжецаря, возводимого на престол злодейством некоторых и заблуждением многих; успех измены всегда готовит другую — и никакая пустыня не скрыла бы державного юношу от умиления Россиян. Так, вероятно, думал и Басманов; однако ж не хотел явно участвовать в деле ужасном: зло и добро имеют степени! Другие были смелее: Князя Голицын и Мосальский, чиновники Молчанов и Шерешевцов, взяв с собою трех зверовидных стрельцов, 10 Июня пришли в дом Борисов: увидели Феодора и Ксению сидящих спокойно подле матери в ожидании воли Божией; вырвали нежных детей из объятий Царицы, развели их по особым комнатам и велели стрельцам действовать: они в ту же минуту удавили Царицу Марию; но юный Феодор, наделенный от природы силою необыкновенною, долго боролся с четырьмя убийцами, которые едва могли одолеть и задушить его. Ксения была несчастнее матери и брата: осталась жива: гнусный властолюбец расстрига слышал об ее прелестях и велел Князю Мосальскому взять ее к себе в дом. Москве объявили, что Феодор и Мария сами лишили себя жизни ядом; но трупы их, дерзостно выставленные на позор, имели несомнительные признаки удушения. Народ толпился у бедных гробов, где лежали две Венценосные жертвы, супруга и сын властолюбца, который обожали погубил их, дав им престол на ужас и смерть лютейшую! «Святая кровь Димитриева, — говорят летописцы, — требовала крови чистой, и невинные пали за виновного, да страшатся преступники и за своих ближних!» Многие смотрели только с любопытством, но многие и с умилением: жалели о Марии, которая, быв дочерью гнуснейшего из палачей Иоанновых и женою святоубийцы, жила единственно благодеяниями, и коей Борис не смел никогда открывать своих злых намерений; еще более жалели о Феодоре, который цвел добродетелию и надеждою: столько имел и

столько обещал прекрасного для счастья России, если бы оно угодно было Провидению!Нарушили и спокойствие могил: выкопали тело Борисово, вложили в раку деревянную, перенесли из церкви Св. Михаила в девичий монастырь Св. Варсонофия на Сретенке и погребли там уединенно, вместе с телами Феодора и Марии!

Так совершилась казнь Божия над убийцею Димитрия истинного, и началась новая над Россиею под скиптром ложного!

Глава IV Царствование Лжедимитрия. 1605—1606 г.

Первое оскорбление Бояр. Указы Лжедимитриевоы. Посол Английский. Шествие к Москве. Доверенность расстриги к Немцам. Вступление в столицу. Пир. Милости. Филарет и юный Михаил. Царь Симеон и Годуновы. Гробы Нагих и Романовых пренесены в Москву. Благодеяния. Преобразование Думы. Любовь Самозванца к Генрику IV. Милосердие. Похвальное слово расстриге. Избрание нового Патриарха. Безмолвное свидетельство Царицы-Инокини. Венчание. Безрассудность Лжедимитрия. Дела гнусные. Пострижение Ксении. Шепот о расстриге. Обличения. Шуйский. Немцы телохранители. Пышность и веселья. Посольство в Литву за невестою. Неудовольствия. Слух, что Борис Годунов жив. Титул Цесаря. Обручение. Слухи о Самозванце в Польше. Лжедимитрий платит долги Мнишковы. Происшествия в Москве. Возвращение Шуйских. Самозванец Петр. Начало заговора. Посольство к Шаху. Собрание войска в Ельце. Письмо к Шведскому Королю. Сношения с Ханом. Толки о замыслах Лжедимитрия. Казнь стрельцов и Дьяка Остова. Опала Царя Симеона и Татищева. Путешествие Воеводы Сендомирского с Мариною. Речь Мнишкова. Условия. Опала двух Святителей. Въезд Марины в столицу. Негодование Москвитян. Соблазны. Ссора с Послами. Дары. Обручение и свадьба. Новые причины к негодованию. Пирь. Новая ссора с Литовскими Послами. Переговоры Государственные. Замышляемые потехи. Наглость Ляхов. Ночной совет в доме у Шуйского. Дерзкие речи на площади. Волнение народа. Спокойствие Лжедимитрия. Измена войска. Последняя ночь для Самозванца. Восстание Москвы. Гибель Басманова. Свидетельство Царицы-Инокини. Суд, допрос и казнь Лжедимитрия. Щадят Марину. Убийства. Бояре утишают мятеж. Глубокая тишина ночи. Козни властолюбия. Речь Шуйского в Думе. Избрание нового Царя. Развеяние Самозванцева праха. Доказательства, что Лжедимитрий был

действительно обманщик.

Нелепою дерзостью и неслыханным счастьем достигнув цели — каким-то обаянием прельстив умы и сердца вопреки здравому смыслу — сделав, Нему нет примера в истории: из беглого Монаха, Козака-разбойника и слуги Пана Литовского в три года став Царем великой Державы, Самозванец казался хладнокровным, спокойным, не удивленным среди блеска и величия, которые окружали его в сие время заблуждения, срама и бесстыдства. Тула имела вид шумной столицы, исполненной торжества и ликования: там собралось более ста тысяч людей воинских и чиновных, множество купцов и народа из всех ближних городов и селений. Вслед за Князьями Воротынским и Телятевским, избранными бить челом расстриге от имени Москвы, спешили туда и знатнейшие Думные мужи: Мстиславский, Шуйские и другие, чтобы достойно вкусить плод своего малодушия: презрение от того, кому они всем жертвовали, кроме сана и богатства, бесчестного в таких обстоятельствах. Вместе с ними были в Тульском дворце у Лжедмитрия Козаки, новые Донские выходцы (Смага Чертенский с товарищами): он дал руку им первым, и с ласкою; а Боярам уже после, и с гневом за их долговременную строптивость. Пишут, что подлые Козаки в присутствии Самозванца нагло ругали сих Вельмож уничиженных, особенно Князя Андрея Телятевского, долее других верного закону. Вельможи представили Лжедмитрию Печать Государственную, ключи от Казны Кремлевской, одежды, доспехи Царские и сонм Царедворцев для услуг его. Уже началось державство расстриги, который, по внушению ли собственного ума или советников, Немедленно занялся правительством, действуя свободно, решительно, как бы человек рожденный на престоле, и с навыком власти: 11 Июня [1605 г.], еще не имев вести о Феодоровом убиении, писал во все города и в самую дальнюю Сибирь, что он, укрытый *невидимою* силою от злодея Бориса и дозрев до мужества, правом наследия сел на Государстве Московском; что Духовенство, Синклит, все чины и народ целовали ему крест с усердием; что Воеводы городские должны Немедленно взять со всех людей такую же присягу на имя Царицы-матери, Инокини Марфы Феодоровны, и его, Царя Дмитрия, с обязательством служить им верно и *не давать отравы*, не сноситься ни с женою, ни с сыном Борисовым, *Федькою*, ни с кем из Годуновых; не мстить никому, не убивать никого без указа Государева, жить в тишине и мире, а на службе *прямить* и мужествовать неизменно. Уже

Самозванец занимался и делами внешними: велел догнать Посла Английского, Смита, еще не выехавшего из России; взять у него Борисовы письма к Королю и сказать ему, что новый Царь, в знак особенного дружества к Англии, даст ее купцам новые выгоды в торговле и Немедленно после своего венчания отправит из Москвы знатного сановника в Лондон, следуя Европейскому обычаю и движению истинной любви к Иакову.

Узнав, что воля его исполнилась: Патриарх свержен, Феодор и Мария в могиле, их ближние изгнаны, Москва спокойна и с нетерпением ждет воскресшего Димитрия, — Самозванец выступил из Тулы и 16 Июня расположился станом на лугах Москвы-реки, у села Коломенского, где все чиновники и знатнейшие граждане поднесли ему хлеб-соль, золотые кубки и соборы, а Бояре великолепнейшую утварь Царскую и говорили с видом единодушного усердия: «Иди и владей достоянием твоих предков. Снятые храмы, Москва и чертоги Иоанновы ожидают тебя. Уже нет злодеев: земля поглотила их. Настало время мира, любви и веселия». Лжедимитрий отвечал, что забывает вины детей, и будет не грозным владыкою а ласковым отцом России. Тут же явились и Немцы с челобитною: быв до конца верны Борису, оказав мужество в двух битвах, не хотели участвовать и в измене Воевод под Кромами, они молили Самозванца не вменять им дела добросовестного в преступлении и писали: «мы честно исполнили долг присяги, и как служили Борису, так готовы служить и тебе, уже Царю законному». Лжедимитрий принял их начальников весьма милостиво и сказал: «будьте для меня то же, что вы были для Годунова: я верю вам более, нежели своим Русским!» Он хотел видеть Немецкого чиновника, державшего знамя в Добрынской битве, и, положив ему руку на грудь, славил его неустрашимость: чего не могли слушать Россияне с удовольствием; но они должны были изъявлять радость!

20 Июня, в прекрасный летний день, Самозванец вступил в Москву, торжественно и пышно. Впереди Поляки, литаврщики, трубачи, дружина всадников с копьями, пищальники, колесницы, заложенные шестернями и верховые лошади Царские, богато украшенные; далее барабанщики и полки Россиян, Духовенство с крестами и Лжедимитрий на белом коне, в одежде великолепной, в блестящем ожерелье, ценою в 150000 червонных: вокруг его 60 Бояр и Князей; за ними дружина Литовская, Немцы, Козаки и стрельцы. Звонили во все колокола Московские. Улицы были наполнены бесчисленным множеством людей; кровли домов и церквей, башни и стены также усыпаны зрителями. Видя Лжедимитрия, народ падал ниц

с восклицанием: «Здравствуй отец наш, Государь и Великий Князь Димитрий Иоаннович, спасенный Богом для нашего благоденствия! Сияй и красуйся, о солнце России!» Лжедимитрий всех громко приветствовал и называл своими добрыми подданными, веля им встать и молиться за него Богу. Невзирая на то, он еще не верил Москвитянам: ближние чиновники его скакали из улицы в улицу и непрестанно доносили ему о всех движениях народных: все было тихо и радостно. Но вдруг, когда Лжедимитрий чрез Живой мост и ворота Москворецкие выехал на площадь, сделался страшный вихрь: всадники едва могли усидеть на конях; пыль взвилась столбом и заслепила им глаза, так что Царское шествие остановилось. Сей случай естественный поразил воинов и граждан; они крестились в ужасе, говоря друг другу: «Спаси нас, Господи, от беды! Это худое предзнаменование для России и Димитрия!» Тут же люди благочестивые были встревожены соблазном: когда расстрига, встреченный Святителями и всем Клиром Московским на лобном месте, сошел с коня, чтобы приложиться к образам, Литовские музыканты играли на трубах и били в бубны, заглушая пение молебна. Увидели и другую непристойность: вступив за Духовенством в Кремль и в Соборную церковь Успения, Лжедимитрий ввел туда и многих иноверцев, Ляхов, Венгров: чего никогда не бывало и что казалось народу осквернением храма. Так расстрига на самом первом шагу изумил столицу легкомысленным неуважением к святыне!.. Оттуда спешил он в церковь Архистратига Михаила, где с видом благоговения преклонился на гроб Иоаннов, лил слезы и сказал: «О родитель любезный! Ты оставил меня в сиротстве и гонении; но святыми твоими молитвами я цел и державствую!» Сие искусное лицедейство было не бесполезно: народ плакал и говорил: «то истинный Димитрий!» Наконец расстрига в чертогах Иоанновых сел на престол Государей Московских.

В сей час многие Вельможи вышли из дворца на Красную площадь к народу и с ними Богдан Бельский, который стал на лобное место, снял с груди свой образ Св. Николая, поцеловал его и клялся Московским гражданам, что новый Государь есть действительно сын Иоаннов, сохраненный и данный им Николаем Чудотворцем; убеждал Россиян любить того, кто возлюблен Богом, и служить ему верно. Народ отвечал единогласно: «Многие лета Государю нашему Димитрию! Да погибнут враги его!» Торжество казалось искренним, общим. Самозванец с Вельможами и Духовенством пировал во дворце, граждане на площадях и дома; пили и веселились до глубокой ночи. «Но плачь был недалеко от радости, — говорит Летописец, — и вино

лилось в Москве пред кровию».

Объявили милости: Лжедимитрий возвратил свободу, чины и достояние не только Нагим, мнимым своим родственникам, но и всем опальным Борисова времени: страдальца Михайла Нагого пожаловал в сан *Великого* Конюшего, брата его и трех племянников, Ивана Никитича Романова, двух Шереметевых, двух Князей Голицыных, Долгорукого, Татова, Куракина и Кашина в Бояре; многих в Окольничие, и между ими знаменитого Василья Щелкалова, удаленного от дел Борисом; Князя Василья Голицына назвал *Великим* Дворецким, Бельского *Великим* Оружничим, Князя Михайла Скопина-Шуйского *Великим* Мечником, Князя Лыкова-Оболенского *Великим* Крайчим, Пушкина *Великим* Сокольничим, Дьяка Сутупова *Великим Секретарем* и Печатником, а Власьева также *Секретарем Великим и Надворным Подскарбием*, или казначеем, — то есть, кроме новых чинов, первый ввел в России наименования иноязычные, заимствованные от Ляхов. Лжедимитрий вызвал и невольного, опального Инока Филарета из Сийской пустыни, чтобы дать ему сан Митрополита Ростовского: сей добродетельный муж, некогда главный из Вельмож и ближних Царских, имел наконец сладостное утешение видеть тех, о коих и в жизни отшельника тосковало его сердце: бывшую супругу свою и сына. С того времени Инокиня Марфа и юный Михаил, отданный ей на воспитание, жили в Епархии Филаретовой близ Костромы в монастыре Св. Ипатия, где все напоминало непрочную знаменитость и разительное падение их личных злодеев: ибо сей монастырь в XIV веке был основан предком Годуновых Мурзою Четом и богато украшен ими. — Странное пугалище воображения Борисова, мнимый Царь и Великий Князь Иоаннова времени Симеон Бекбулатович, ослепленный, как уверяют, и сосланный Годуновым, также удостоился Лжедимитриева благоволения в память Иоанну: ему велели быть ко двору, оказали великую честь и дозволили снова именоваться Царем. Сняли опалу с родственников Борисовых и дали им места Воевод в Сибири и в других областях дальних. Не забыли и мертвых: тела Нагих и Романовых, усопших в бедствии, вынули из могил пустынных, перевезли в Москву и схоронили с честью там, где лежали их предки и ближние.

Угодив всей России милостями к невинным жертвам Борисова тиранства, Лжедимитрий старался угодить ей и благодеяниями общими: удвоил жалованье сановникам и войску; велел заплатить все долги казенные Иоаннова Царствования, отменил многие торговые и судные пошлины; строго запретил всякое мздоимство и наказал многих судей бессовестных; обнародовал, что в каждую Среду и Субботу будет

сам принимать челобитные от жалобщиков на Красном крыльце. Он издал также достопамятный закон о крестьянах и холопах: указал всех беглых возвратить их отчинникам и помещикам, кроме тех, которые ушли во время голода, бывшего в Борисово Царствование, не имея нужного пропитания; объявил свободными слуг, лишенных воли насилием, без крепостей внесенных в Государственные книги. Чтобы оказать доверенность к подданным, Лжедмитрий отпустил своих иноземных телохранителей и всех Ляхов, дав каждому из них в награду за верную службу по сороку золотых, деньгами и мехами, но тем не удовлетворив их корыстолюбие: они хотели более, не выезжали из Москвы, жаловались и пировали!

Плененный обычаями той земли, где началась его жизнь пышная и где все казалось ему блестящим, превосходным в сравнении с Россиею, Лжедмитрий не удовольствовался введением новых чинов и наименований: он спешил, в духе сего подражания, изменить состав нашей древней Государственной Думы: указал заседать в ней, сверх Патриарха (что в важных случаях и дотоле бывало), четверем Митрополитам, семи Архиепископам и трем Епископам, надеясь, может быть, обольстить тем мирское честолюбие Духовенства, а более всего желая следовать уставу Королевства Польского; назвал всех мужей Думных *Сенаторами*, умножил число их до семидесяти, сам ежедневно там присутствовал, слушал и решал дела, как уверяют, с необыкновенною легкостью. Пишут, что он, имея дар краснословия, блистал им в совете, говорил много и складно, любил уподобления, часто ссылался на Историю, рассказывал, что сам видел в иных землях, то есть в Литве и в Польше; изъявлял особенное уважение к Королю Французскому, Генрику IV; хвалился, подобно Борису, милосердием, кротостию, великодушием и твердил людям ближним: «Я могу двумя способами удержаться на престоле: тиранством и милостию; хочу испытать милость и верно исполнить обет, данный мною Богу: не проливать крови». Так говорил убийца непорочного Феодора и благодетельной Марии!.. Расстригу славили: Московский Благовещенский протоиерей Терентий, сочинил ему похвальное слово, как Венценосцу доблему, *носящему на языке милость*, а Патриарх Иерусалимский униженною грамотою известил его, что вся Палестина ликует о спасении Иоаннова сына, предвидя в Нем будущего своего избавителя, и что три лампы денно и ночью пылают над гробом Христовым во имя Царя Димитрия.

Ближние люди Самозванца советовали ему, для утверждения своей власти, немедленно венчаться на Царство: ибо многие думали, что и

злосчастный Феодор не столь легко сделался бы жертвою измены, если бы успел освятить себя в глазах народа саном помазанника. Сей обряд торжественный надлежало совершить Патриарху: не доверяя Российскому Духовенству, Лжедмитрий на место сверженного Иова выбрал чужеземца, Грека Игнатия, Архиепископа Кипрского, который, быв изгнан из отечества Турками, жил несколько времени в Риме, приехал к нам в царствование Феодора Иоанновича, угодил Борису, и с 1603 года правил Епархией Рязанскою. Он снискал милость Самозванца, встретив его еще в Туле; не имел ни чистой Веры, ни любви к России, ни стыда нравственного и казался ему надежнейшим орудием для всех замышляемых им соблазнов. Наспех поставили Игнатия в Патриархи и наспех готовились к Царскому венчанию; а Лжедмитрий готовил между тем иное торжественное явление, необходимое для полного удостоверения и Москвы и России, что венец Мономахов возлагается на главу Иоаннова сына.

Войско, Синклит, все чины Государственные признали обманщика Димитрием, все, кроме матери, которой свидетельство было столь важно и естественно, что народ без сомнения ожидал его с нетерпением. Уже Самозванец около месяца властвовал в Москве, а народ еще не видал Царицы-Инокини, хотя она жила только в пятистах верстах оттуда: ибо Лжедмитрий не мог быть уверен в ее согласии на обман, столь противный святому званию Инокини и материнскому сердцу. Тайные сношения требовали времени: с одной стороны, представили ей жизнь Царскую, а с другой, муки и смерть; в случае упрямства, страшного для обманщика, могли задушить несчастную — сказать, что она умерла от болезни или радости, и великолепными похоронами мнимой Государевой матери успокоить народ легковерный. Вдовствующая супруга Иоаннова, еще не старая летами, помнила удовольствия света, двора и пышности; 13 лет плакала в уничижении, страдала за себя, за своих ближних — и не усомнилась в выборе. Тогда Лжедмитрий уже гласно послал к ней в Выксинскую Пустыню Великого Мечника Князя Михайла Васильевича Скопина-Шуйского и других людей знатных с убедительным челобитьем нежного сына благословить его на Царство — и сам, 18 Июля, выехал встретить ее в селе Тайнинском. — Двор и народ были свидетелями любопытного зрелища, в коем лицемерное искусство имело вид искренности и природы. Близ дороги расставили богатый шатер, куда ввели Царицу и где Лжедмитрий говорил с нею наедине — не знали, о чем; но увидели следствие: мнимые сын и мать вышли из шатра, изъявляя радость и любовь; нежно обнимали друг друга и произвели в сердцах многих

зрителей восторг умиления. Добродушный народ обливался слезами, видя их в глазах Царицы, которая могла плакать и нелицемерно, вспоминая об истинном Димитрии и чувствуя свой грех пред ним, пред совестью и Россиею! Лжедимитрий посадил Марфу в великолепную колесницу; а сам с открытою головою шел несколько верст пешком, окруженный всеми Боярами; наконец сел на коня, ускакал вперед и принял Царицу в Иоанновых палатах, где она жила до того времени, как изготовили ей прекрасные комнаты в Вознесенском девичьем монастыре с особенною Царскою услугою.

Там Самозванец, в лице почтительного и нежного сына, ежедневно виделся с нею; был доволен искусным ее притворством, но удалял от нее всех людей сомнительных, чтобы она не имела случая изменить ему в важной тайне, от нескромности или раскаяния.

21 Июля совершилось венчание с известными обрядами; но Россияне изумились, когда, после сего священного действия, выступил Иезуит Николай Черниковский, чтобы приветствовать нововенчанного Монарха непонятною для них речью на языке Латинском. Как обыкновенно, все знатнейшее Духовенство, Вельможи и чиновники пировали в сей день у Царя, сиюсь наперерыв оказывать ему усердие и радость — но уже многие лицемерно, ибо общее заблуждение не продолжилось!

Первым врагом Лжедимитрия был сам он, легкомысленный и вспыльчивый от природы, грубый от худого воспитания, — надменный, безрассудный и неосторожный от счастья. Удивляя Бояр острою и живостию ума в делах Государственных, державный прошлец часто забывался: оскорблял их своими насмешками, упрекал невежеством, дразнил хвалою иноземцев и твердил, что Россияне должны быть их учениками, ездить в чужие земли, видеть, наблюдать, образоваться и заслужить имя людей. Польша не сходила у него с языка. Он распустил своих иностранных телохранителей, но исключительно ласкал Поляков, только им давал всегда свободный к себе доступ, с ними обходился дружески и советовался как с ближними; взял даже в Тайные Царские Секретари двух Ляхов Бучинских. Российские Вельможи, изменив закону и чести, лишились права на уважение, но хотели его от того, кому они пожертвовали законом и честью: самолюбие не безмолвствует и в стыде и в молчании совести. Только один Россиянин от начала до конца пользовался доверенностию и дружбою Самозванца: всех виновнейший Басманов; но и сей несчастный ошибся: видел себя единственно любимцем, а не руководителем Лжедимитрия, который не для того искал престола, чтобы сидеть на Нем всегдашним учеником

Басманова: иногда спрашивался, иногда слушал его, но чаще действовал вопреки наставнику, по собственному уму или безумию. Грубостию огорчая Бояр, Самозванец допускал их однако ж в разговорах с ним до вольности необыкновенной и несогласной с мыслями Россиян о высоте Царского сана, так что Бояре, им не уважаемые, и сами уважали его менее прежних Государей.

Самозванец скоро охладил к себе и любовь народную своим явным неблагоразумием. Снискав некоторые познания в школе и в обхождении с знатными Ляхами, он считал себя мудрецом, смеялся над мнимым суеверием набожных Россиян и, к великому их соблазну, не хотел креститься пред иконами; не велел также благословлять и кропить Святою водою Царской трапезы, садясь за обед не с молитвою, а с музыкою. Не менее соблазнялись Россияне и благовлечением его к Иезуитам, коим он в священной ограде Кремлевской дал лучший дом и позволил служить Латинскую Обедню. Страстный к обычаям иноземным, ветреный Лжедимитрий не думал следовать Русским: желал во всем уподобляться Ляху, в одежде и в прическе, в походке и в телодвижениях; ел телятину, которая считалась у нас заповедным, грешным яством; не мог терпеть бани и никогда не ложился спать после обеда (как издревле делали все Россияне от Венценосца до мещанина), но любил в сие время гулять: украдкою выходил из дворца, один или сам-друг; бегал из места в место, к художникам, золотарям, аптекарям; а Царедворцы, не зная, где Царь, везде искали его с беспокойством и спрашивали о нем на улицах: чему дивились Москвитяне, дотоле видав Государей только в пышности, окруженных на каждом шагу толпою знатных сановников. Все забавы и склонности Лжедимитриевы казались странными: он любил ездить верхом на диких бешеных жеребцах и собственною рукою, в присутствии двора и народа, бить медведей; сам испытывал новые пушки и стрелял из них в цель с редкою меткостью; сам учил воинов, строил, брал приступом земляные крепости, кидался в свалку и терпел, что иногда толкали его небережно, сшибали с ног, давили — то есть, хвалился искусством всадника, зверолова, пушкаря, бойца, забывая достоинство Монарха. Он не помнил сего достоинства и в действиях своего нрава вспыльчивого: за малейшую вину, ошибку, неловкость, выходил из себя и бивал, палкою, знатнейших воинских чиновников — а низость в Государе противнее самой жестокости для народа. Осуждали еще в Самозванце непомерную расточительность: он сыпал деньгами и награждал без ума; давал иноземным музыкантам жалованье, какого не имели и первые Государственные люди; любя роскошь и великолепие,

непрестанно покупал, заказывал всякие драгоценные вещи и месяца в три издержал более семи миллионов рублей — а народ не любил расточительности в Государях, ибо страшится налогов. Описывая тогдашний блеск Московского двора, иноземцы с удивлением говорят о Лжедмитриевом престоле, вылитом из чистого золота, обвешенном кистями алмазными и жемчужными, утвержденном внизу на двух серебряных львах и покрытом крестообразно четырьмя богатыми щитами, над коими сиял золотой шар и прекрасный орел из того же металла. Хотя расстрига ездил всегда верхом, даже в церковь, но имел множество колесниц и саней, окованных серебром, обитых бархатом и соболями; на гордых азиатских его конях седла, узды, стремена блистали золотом, изумрудами и яхонтами; возницы, конюхи Царские одевались как Вельможи. Не любя голых стен в палатах Кремлевских, находя их печальными и сломав деревянный дворец Борисов как памятник ненавистный, Самозванец построил для себя, ближе к Москве-реке, новый дворец, также деревянный, украсил стены шелковыми персидскими тканями, цветные изразцовые печи серебряными решетками, замки у дверей яркою позолотою, и в удивление Москвитянам пред сим любимым своим жилищем поставил изваянный образ адского стража, медного огромного Цербера, коего три челюсти от легкого прикосновения разверзались и бряцали: «чем Лжедмитрий, — как сказано в летописи, — предвестил себе жилище в вечности: ад и тьму кромешную!»

Действуя вопреки нашим обычаям и благоразумию, Лжедмитрий презирал и святейшие законы нравственности: не хотел обуздывать вожделий грубых и, пылая сластолюбием, явно нарушал уставы целомудрия и пристойности, как бы с намерением уподобиться тем мнимому своему родителю; бесчестил жен и девиц, двор, семейства и святые обители дерзостию разврата и не устыдился дела гнуснейшего из всех его преступлений: убив мать и брата Ксении, взял ее себе в наложницы. Красота сей несчастной Царевны могла увянуть от горести; но самое отчаяние жертвы, самое злодейство неистовое казалось прелестию для изверга, который сим одним мерзостным бесстыдством заслужил свою казнь, почти сопредельную с торжеством его... Через несколько месяцев Ксению постригли, назвали Ольгою и заключили в пустыне на Белеозере, близ монастыря Кириллова.

Но Самозванец под личиною Димитрия, вероятно, мог бы еще долго безумствовать и злодействовать в венце Монохамовом, если бы сия, как бы волшебная личина не спала с него в глазах народа: столь велико было усердие Россиян к древнему племени державному!

Заблуждение возвысило бродягу: истина долженствовала низвергнуть обманщика. Не один удаленный Иов знал беглеца Чудовского в Москве: надеялся ли расстрига казаться другим человеком, стараясь казаться полу-Ляхом и черную ризу Инока пременив на Царскую? или, ослепленный счастьем, уже не видал для себя опасности, имея в руках своих власть с грозой и считая Россиян стадом овец бессловесных? или дерзостью мыслил уменьшить сию опасность, поколебать удостоверение, сомкнуть уста робкой истине? Он не думал скрываться и смело смотрел в глаза всякому любопытному на улицах; исходил только в Святую Обитель Чудовскую, место неприятных для него знакомств и воспоминаний. Итак, не удивительно, что в самом начале нового Царствования, когда Москва еще гремела хвалою Дмитрия, уже многие люди шептали между собою о действительном сходстве его с Диаконом Григорием; хвала умолкала от безрассудности и худых дел Царя, а шепот становился внятнее — и скоро взволновал столицу. Первым уличителем и первою жертвою был Инок, который сказал всенародно, что мнимый Дмитрий известен ему с детских лет под именем Отрепьева, учился у него грамоте и жил с ним в одном монастыре: Инока тайно умертвили в темнице. Нашелся и другой, опаснейший свидетель истины — тот, кому судьба вручала месть праведную, но коего час еще не наступил: Князь Василий Шуйский. В смятении ужаса признав бродягу Царем, вместе с иными Боярами, он менее всех мог извиняться заблуждением, ибо собственными глазами видел Иоаннова сына во гробе. Терзаясь ли горестию и стыдом или имея уже дальновидные тайные замыслы властолюбия, Шуйский недолго безмолвствовал в столице: сказал ближним, друзьям, приятелям, что Россия у ног обманщика; внушал и народу, чрез своих поверенных, купца Федора Конева и других, что Годунов и Святитель Иов объявляли совершенную правду о Самозванце, еретике, орудии Ляхов и Папистов. Еще Лжедмитрий имел многих ревностных слуг: Басманов узнал и донес ему о сем кове, опасном знатностию виновника. Взяли Шуйского с братьями под стражу и велели судить, как дотоле еще никого не судили в России: Собором, избранным людям всех чинов и званий. Летописец уверяет, что Князь Василий в сем единственном случае жизни своей явил себя Героем: не отрицался: смело, великодушно говорил истину, к искреннему и лицемерному ужасу судей, которые хотели заглушить ее воплем, проклиная такие хулы на Венценосца. Шуйского пытали: он молчал; не назвал никого из соумышленников, и был один приговорен смертной казни: братьев его лишали только свободы. В глубокой тишине народ теснился вокруг

лобного места, где стоял осужденный Боярин (как бывало в Иоанново время!) подле секиры и плахи, между дружинами воинов, стрельцов и Козаков; на стенах и башнях Кремлевских также блистало оружие для устрашения Москвитян, и Петр Басманов держа бумагу, читал народу от имени Царского: «Великий Боярин, Князь Василий Иванович Шуйский, изменил мне, законному Государю вашему, Димитрию Иоанновичу всея России; коварствовал, злословил, ссорил меня с вами, добрыми подданными: называл лжецарем; хотел свергнуть с престола. Для того осужден на казнь: да умрет за измену и вероломство!» Народ безмолвствовал в горести, издавна любя Шуйских, и пролил слезы, когда несчастный Князь Василий, уже обнажаемый палачом, громко воскликнул к зрителям: «Братья! Умираю за истину, за Веру Христианскую и за вас!» Уже голова осужденного лежала на плахе... Вдруг слышат крик: *стой!* и видят Царского чиновника, скачущего из Кремля к лобному месту, с указом в руке: объявляют помилование Шуйскому! Тут вся площадь закипела в неопisanном движении радости: славили Царя, как в первый день его торжественного вступления в Москву; радовались и верные приверженники Самозванца, думая, что такое милосердие дает ему новое право на любовь общую; негодовали только дальновиднейшие из них, и не ошиблись: мог ли забыть Шуйский пытки и плаху? Узнали, что не ветреный Лжедимитрий вздумал тронуть сердца сим неожиданным действием великодушия, но что Царица-Инокия слезным молением убедила мнимого сына не казнить врага, который искал головы его!.. Совесть, вероятно, терзала сию несчастную пособницу обмана: спасая мученика истины, Марфа надеялась уменьшить грех свой пред людьми и Богом. Вместе с нею ходатайствовали за осужденного и некоторые Ляхи, видя, сколь живое участие принимали Москвитяне в судьбе его и желая снискать тем их благодарность. Всех трех Шуйских, Князя Василия, Дмитрия, Ивана, сослали в пригороды Галицкие; имение их описали, дома опустошили.

Тогда же разгласилось в Москве и свидетельство многих Галичан, единоплеменцев и самых ближних Григория Отрепьева; дяди, брата и даже матери, добросовестной вдовы Варвары: они видели его, узнали и не хотели молчать. Их заключили; а дядю, Смирного-Отрепьева (в 1604 году ездившего к Сигизмунду для уличения племянника), сослали в Сибирь. Схватили еще Дворянина Петра Тургенева и мещанина Федора, которые явно возмущали народ против лжецаря. Самозванец велел казнить обоих торжественно и с удовольствием видел, что народ, благодарный ему за помилование Шуйского, не изъявил

чувствительности к великодушию сих двух страдальцев; оба шли на смерть без ужаса и раскаяния, громогласно именуя Лжедимитрия Антихристом и любимцем Сатаны, жалея о России и предсказывая ей бедствие; чернь ругалась над ними, восклицая: «умираете за дело!» — С сего времени не умолкали доносы, справедливые и ложные, как в Борисово царствование: ибо Самозванец, дотоле желав хвалиться милосердием, уже следовал иным правилам: хотел грозою унять дерзость и для того благоприятствовал изветам. Пытали, казнили, душили в темницах, лишали имения, ссылали за слово о расстриге. По таким ли доносам, или единственно опасаясь нескромности своих старых приятелей, Лжедимитрий велел удалить многих Чудовских Иноков в другие, пустынные Обители, хотя (что достойно замечания) оставил в покое Крутицкого Митрополита Пафнутия, который с первого взгляда узнал в нем Дякона Григория, быв в его время Архимандритом сего монастыря, но, как вероятно, лицемерным или бессовестным изъявлением усердия к Самозванцу спас себя от гонения. Молчали и другие в боязни, так что столица казалась тихою. Но расстрига сделался осторожнее и, явно не доверяя Москвитянам, снова окружил себя иноплеменниками: выбрал 300 Немцев в свои телохранители, разделил их на три особенные дружины под начальством *Капитанов* : Француза Маржерета, Ливонца Кнутсена и Шотландца Вандемана; одел весьма богато в камку и бархат; вооружил алебардами и протазанами, секирами и бердышами с золотыми орлами на древках, с кистями золотыми и серебряными; дал каждому воину, сверх поместья, от 40 до 70 рублей денежного жалованья — и с того времени уже никуда не ездил и не ходил один, всюду провождаемый сими грозными телохранителями, за коими только вдали следовали Бояре и Царедворцы. Мера достойная бродяги, игрою Судьбы вознесенного на степень державства: триста иноземных секир и копий должны были спасать его от предполагаемой измены целого народа и полумиллиона воинов, бесполезно раздражаемых знаками недоверия обидного! Между тем Лжедимитрий хотел веселья: музыка, пляска и зернь были ежедневною забавою Двора. Угождая вкусу Царя к пышности, все знатные и незнатные старались блистать одеждою богатою. Всякий день казался праздником. «Многие плакали в домах, а на улицах казались веселыми и нарядными женихами», говорит Летописец. Смиранный вид и смиренная одежда для людей неубогих считались знаком худого усердия к Царю веселому и роскошному, который сим призраком благосостояния желал уверить Россию в ее златом веке под державою обманщика.

Утишив, как он думал, Москву, Лжедимитрий спешил исполнить обет, данный его благодарностию, сердцем или политикою: предложить руку и венец Марине, которая любовью и доверенностию к бродяге заслуживала честь сидеть с ним на троне. Сношения между Воеводою Сендомирским и нареченным его зятем не прерывались: Самозванец уведомлял Мнишка о всех своих успехах, называл всегда отцом и другом; писал к Нему из Путивля, Тулы, Москвы; а Воевода писал не только к Самозванцу, но и к Боярам Московским, требуя их признательности такими словами: «Способствовав счастью Димитрия, я готов стараться, чтобы оно было и счастьем России, побуждаемый к сему моею всегдашнею к ней любовью и надеждою на вашу благодарность, когда вы увидите мое ревностное о вас ходатайство пред троном, и будете иметь новые выгоды, новые важные права, неизвестные доньше в Московском Государстве». Наконец (в Сентябре месяце) Лжедимитрий Послал великого секретаря и казначея Афанасия Власьева в Краков для торжественного сватовства, дав ему грамоту к Сигизмунду и другую от Царицы-Инокини Марфы к отцу невестину. Могли ли Россияне одобрить сей брак с иноверкою, хотя и знатного, но не державного племени, — с удовольствием видеть спесивого Пана тестем Царским, ждать к себе толпу его ближних, не менее спесивых, и раболепно чтить в них свойство с Венценом, который избранием чужеземной невесты оказывал презрение ко всем благородным Россиянкам? Самозванец, вопреки обычаю, даже и не известил Бояр о сем важном деле: говорил, советовался единственно с Ляхами. Но, легкомысленно досаждая Россиянам, он в то же время не вполне удовлетворял и желаниям своих друзей иноземных.

Никто ревностнее Нунция Папского, Рангони, не служил обманщику: пышною грамотою приветствуя Лжедимитрия на троне, Рангони славил Бога и восклицал: *мы победили* льстил ему хвалами неумеренными и надеялся, что соединение церковей будет первым из его дел бессмертных; писал: «Изображение лица твоего уже в руках Св. Отца, исполненного к тебе любви и дружества. Не медли изъявить свою благодарность Главе верных... и прими от меня дары духовные: образ сильного Воеводы, коего содействием ты победил и царствуешь; четки молитвенные и Библию Латинскую, да услаждаешься ее чтением, и да будешь вторым Давидом». Скоро прибыл в Москву и чиновник Римский, Граф Александр Рангони (племянник Нунция) с *Апостольским благословением* и с поздравительною грамотою от преемника Климентова, нетерпеливого в желании видеть себя главою нашей церкви; но Савозванец в учтивом ответе, хваляся чудесною к

Нему благостию Божию, истребившею злодея, *отцеубийцу* его, не сказал ни слова о соединении Церквей: говорил только о великодушном своем намерении жить не в праздности, но вместе с Императором идти на Султана, чтобы стереть Державу неверных с лица земли, убеждая Павла V не допускать Рудольфа до мира с Турками: для чего хотел отправить в Австрию и собственного Посла. Лжедмитрий писал и вторично к Папе, обещая доставить безопасность его Миссионариям на пути их чрез Россию в Персию и *быть верным в исполнении данного ему слова*, посылал и сам Иезуита Андрея Лавицкого в Рим, но, кажется, более для государственного, нежели церковного дела: для переговоров о войне Турецкой, которую он действительно замышлял, пленясь в воображении ее славою и пользою. Надменный счастьем, рожденный смелым и с любовью к опасностям, Самозванец в кружении легкой головы своей уже не был доволен Государством Московским: хотел завоеваний и Держав новых! Сия ревность еще сильнее вспылала в Нем от донесения Воевод Терских, что их стрельцы и Козаки одержали верх в сшибке с Турками и что некоторые данники Султанские в Дагестане присягнули России. Издавна проповедуя в Европе необходимость всеобщего восстания Держав Христианских на Оттоманскую, мог ли Рим не одобрить намерения Лжедмитриева? Папа славил Царя-Героя, советуя ему только начать с ближайшего: с Тавриды, чтобы истреблением гнезда злодейского, столь бедоносного для России и Польши, *отрезать крылья и правую руку* у Султана в войне с Императором; однако ж имел причину не доверять ревности Самозванца к Латинской Церкви, видя, как он в письмах своих избегает всякого *ясного* слова о Законе. Кажется, что Самозванец охладел в усердии сделать Россиян Папистами: ибо, невзирая на свойственную ему безрассудность, усмотрел опасность сего нелепого замысла и едва ли бы решился приступить к исполнению оногo, если бы и долее царствовал.

Скоро увидел и главный благодетель Лжедмитриев, Сигизмунд лукавый, что счастье и престол изменили того, кто еще недавно в восторге лобызал его руку, безмолвствовал и вздыхал пред ним, как раб униженный. Быв непосредственным виновником успехов Самозванца — оказав бродяге честь сына Царского, дав ему деньги, воинов, и тем склонив народ северский верить обману — Сигизмунд весьма естественно ждал благодарности и, чрез секретаря своего, Госевского, приветствуя нового Царя, нескромно требовал, чтобы Лжедмитрий выдал ему Шведских Послов, если они будут в Москву от *мятежника* Карла. Госевский, беседа с Царем наедине, объявил за тайну, что

Король встревожен молвою удивительною. «Недавно (говорил сей чиновник) выехал к нам из России один приказный, который уверяет, что Борис жив: устрашенный твоими победами и, следуя наставлению волхвов, он уступил Державу сыну, юному Феодору, притворился мертвым и велел торжественно, вместо себя, схоронить другого человека, опоенного ядом; а сам, взяв множество золота, с ведома одной Царицы и Семена Годунова бежал в Англию, называясь купцом. Поручив надежным людям разведать в Лондоне, действительно ли укрывается там опасный злодей твой, Сигизмунд, как истинный друг, счел за нужное предостеречь тебя и, думая, что верность Россиян еще сомнительна, дал указ нашим Литовским Воеводам быть в готовности для твоей защиты». Сия сказка не испугала Лжедмитрия: он благодарил Короля, но ответственвал, что «в смерти Борисовой не сомневается; что готов быть недругом мятежнику Шведскому, но прежде хочет удостовериться в искренней дружбе Сигизмунда, который, вопреки ласковым словам, уменьшает данное ему Богом достоинство» — ибо Сигизмунд в письме своем назвал его господарем и великим Князем, а не *Царем* : Самозванец же хотел не только сего титула, но и нового, пышнейшего: вздумал именовать себя Цесарем и даже *непобедимым*, мечтая о своих будущих победах! Узнав о таком гордом требовании, Сигизмунд изъявил досаду, и Вельможные Паны упрекали недавнего бродягу смешным высокоумием, злою неблагодарностию; а Лжедмитрий писал в Варшаву, что он не забыл добрых услуг Сигизмундовых, чтит его как брата, как отца; желает утвердить с ним союз, но не престанет требовать Цесарского титула, хотя и не мыслит грозить ему за то войною. Люди благоразумные, особенно Мнишек и Нунций Папский, тщетно доказывали Самозванцу, что Король называет его так, как Государи Польские всегда называли Государей Московских, и что Сигизмунду нельзя переменить сего обыкновения без согласия чинов Республики. Другие же, не менее благоразумные люди думали, что Республика не должна ссориться за пустое имя с хвастливым другом, который может быть ей орудием для усмирения Шведов; но Паны не хотели слышать о новом титуле, и Воевода Познанский сказал в гневе одному чиновнику Российскому: «Бог не любит гордых, и *непобедимому* Царю вашему не усидеть на троне». — Сей жаркий спор не мешал однако ж успеху в деле сватовства.

1 Ноября Великий Посол Царский, Афанасий Власьев, со многочисленною благородною дружиною приехал в Краков и был представлен Сигизмунду: говорил сперва о счастливом воцарении

Иоаннова сына, о славе низвергнуть Державу Оттоманскую, завоевать Грецию, Иерусалим, Вифлеем и Вифанию, а после о намерении Димитрия разделить престол с Мариною, из благодарности за важные услуги, оказанные ему, во дни его несгоды и печали, знаменитым ее родителем. 12 Ноября, в присутствии Сигизмунда, сына его Владислава и сестры, Шведской Королевы Анны, совершилось торжественное обручение (воспетое в стихах пиндарических Иезуитом Гроховским). Марина, с короною на голове, в белой одежде, унизанной камнями драгоценными, блистала равно и красотою и пышностию. Именем Мнишка сказав Власьеву (который заступал место жениха), что отец благословляет дочь на брак и Царство, Литовский Канцлер Сапега говорил длинную речь, также и Пан Ленчицкий и Кардинал, Епископ Краковский, славя «достоинства, воспитание и знатный род Марины, *вольной Дворянки Государства вольного, — честность* Димитрия в исполнении данного им обета, счастье России иметь законного, отечественного Венценосца, вместо иноземного или похитителя, и видеть искреннюю дружбу между Сигизмундом и Царем, который без сомнения не будет примером неблагодарности, зная, чем обязан Королю и Королевству Польскому». Кардинал и знатнейшие Духовные сановники пели молитву: *Veni, Creator*: все преклонили колена; но Власьев стоял и едва не произвел смеха, на вопрос Епископа: «не обручен ли Димитрий с другою невестою?» ответствуя: *а мне как знать? того у меня нет в наказе*. Меняясь перстнями, он вынул Царский из ящика, с одним большим алмазом, и вручил Кардиналу; а сам не хотел голою рукою взять невестина перстня. По совершении священных обрядов был великолепный стол у Воеводы Сендомирского, и Марина сидела подле Короля, принимая от Российских чиновников дары своего жениха: богатый образ Св. Троицы, благословение Царицы-Инокини Марфы; перо из рубинов; чашу гиацинтовую; золотой корабль, осыпанный многими драгоценными камнями; золотого быка, пеликана и павлина; *какие-то удивительные* часы с флейтами и трубами; с лишком три пуда жемчугу, 640 редких соболей, кипы бархатов, парчей, штофов, атласов, и проч. и проч. Между тем Власьев, желая быть почтительным, не хотел садиться за стол с Мариною, ни пить, ни есть и, худо разумея, что он представляет лицо Димитрия, бил челом в землю, когда Сигизмунд и семейство его пили за здоровье Царя и *Царицы* : уже так именовали невесту обрученную. После обеда Король, Владислав и Шведская Принцесса Анна танцевали с Мариною; а Власьев уклонился от сей чести, говоря: «дерзну ли коснуться Ее Величества!» Наконец, прощаясь с Сигизмундом, Марина

упала к ногам его и плакала от умиления, к неудовольствию Посла, который видел в том унижение для будущей супруги Московского Венценосца; но ему ответствовали, что Сигизмунд Государь ее, ибо она еще в Кракове. Подняв Марину с ласкою, Король сказал ей: «Чудесно возвышенная Богом, не забудь, чем ты обязана стране своего рождения и воспитания, — стране, где оставляешь ближних и где нашло тебя счастье необыкновенное. Питай в супруге дружество к нам и благодарность за сделанное для него мною и твоим отцем. Имей страх Божий в сердце, чтить родителей *и не изменяй обычаям Польским* ». Сняв с себя шапку, он перекрестил Марину, собственными руками отдал послу и дозволил Воеводе Сендомирскому ехать с нею в Россию; а Власьев, Немедленно отправив к Самозванцу перстень невесты и живописное изображение лица ее, жил еще несколько дней в Кракове, чтобы праздновать Сигизмундово бракосочетание с Австрийскою Эрцгерцогинею, и (8 Декабря) выехал в Слоним, ожидать там Мнишка и Марины на пути их в Россию; но ждал долго.

Пожертвовав Самозванцу знатною частью своего богатства, Воевода Сендомирский не был доволен одними дарами: требовал от него денег, чтобы расплатиться с заимодавцами, и не хотел без того выехать из Кракова; скучал, досадовал и тревожился худою молвою о будущем зяте. В Кракове знали, что делалось в Москве; знали о негодовании Россиян, и многие не верили ни Царскому происхождению Лжедмитрия, ни долговременности его счастья; говорили о том всенародно, предостерегали Короля и Мнишка. Сама Царица-Инокния Марфа, как уверяют, тайно велела чрез одного Шведа объявить Сигизмунду, что мнимый Димитрий не есть сын ее. Даже и чиновники Российские, присылаемые гонцами в Польшу, шептали на ухо любопытным о Царе незаконном, и предсказывали Неминуемый скорый ему конец. Но Сигизмунд и Мнишек не верили таким речам или показывали, что не верят, желая приписывать их единственно внушениям тайных злодеев Царя, друзей Годунова и Шуйского. Во всяком случае уже не время было думать о разрыве с тем, кто звал на престол Марину и честно вознаграждал отца ее за все его убытки: ибо, наконец (в Генваре 1606), Секретарь Ян Бучинский привез из Москвы 200 тысяч злотых Мнишку, сверх ста тысяч, отданных Лжедмитрием Сигизмунду в уплату суммы, которую занял у него Воевода Сендомирский на ополчение 1604 года. Расстрига изъявлял нетерпение видеть невесту; но отец ее, занимаясь пышными сборами, еще долго жил в Галиции, и выехал, с толпою своих ближних, уже в распутицу, так что некоторые из них от худой дороги возвратились, — к их

счастью: ибо в Москве уже все изготовилось к страшному действию народной мести.

[1606 г.] Оградив себя иноземными телохранителями и, видя тишину в столице, уклончивость, низость при Дворе, Лжедмитрий совершенно успокоился; верил какому-то предсказанию, что ему властвовать 34 года, и пировал с Боярами на их свадьбах, дозволив им свободно выбирать себе невест и жениться: чего не было в Царствование Годунова, и чем воспользовался, хотя уже и не в молодых летах, знатнейший Вельможа Князь Мстиславский, за коего Самозванец выдал двоюродную сестру Царицы-Инокини Марфы. Казалось, что и Москва искренно веселилась с Царем: никогда не бывало в ней столько пиров и шума; никогда не видали столько денег в обращении: ибо Немцы, Ляхи, Козаки, сподвижники Лжедмитрия, от щедрот его сыпали золотом, к Немалой выгоде Московского купечества, и хвастаясь богатством, по словам Летописца, не только ели, пили, но и в банях мылись из серебряных сосудов. В сии веселые дни Самозванец, расположенный к действиям милости, простил Шуйских, чрез шесть месяцев ссылки: возвратил им богатство и знатность, в удовольствие их многочисленных друзей, которые умели хитро ослепить его прелестию такого великодушия, и, вероятно, уже не без намерения, губительного для лжецаря. Всеми уважаемый как первостепенный муж государственный и потомок Рюриков, Василий Шуйский был тогда идолом народа, прославив себя неустрашимую твердостью в обличении Самозванца: пытки и плаха дали ему, в глазах Россиян, блистательный венец Героя-мученика, и никто из Бояр не мог, в случае народного движения, иметь столько власти над умами, как сей Князь, равно честолюбивый, лукавый и смелый. Дав на себя письменное обязательство в верности Лжедмитрию, он возвратился в столицу, по-видимому, иным человеком: казался усерднейшим его слугою и снискал в Нем особенную доверенность, вопреки мнению некоторых ближних людей Самозванца, которые говорили, что можно из милосердия, иногда одобряемого политикою, не казнить изменника и клятвопреступника, но безрассудно верить его новой клятве; что Шуйский, не выдав от Димитрия ничего, кроме благоволения, замышлял его гибель, а претерпев от него бесчестие, муки, ужас смерти, конечно не исполнился любви к своему карателю, хотя и правосудному: исполнился, вероятнее, злобы и мести, скрывааемых под личиною раскаяния. Они говорили истину: Шуйский возвратился с тем, чтобы погибнуть или погубить Лжедмитрия. Но легкоумный, гордый Самозванец, хваляся еще не столько благодатью, сколько бесстрашием,

ответствовал, что находя искреннее удовольствие в милости, любит прощать совершенно, не вполнину, и без греха не может чего-нибудь страшиться, быв от самой колыбели чудесно и явно храним Богом. Он хотел, чтобы Князь Василий, подобно Мстиславскому, избрал себе знатную невесту: Шуйский выбрал Княжну Буйносову-Ростовскую, свойственницу Нагих, и должен был жениться чрез несколько дней после Царской свадьбы — одним словом, быв угодником Иоанновым и Борисовым, обворожил расстригу нехитрого, сделался его советником, и не для того, чтобы советовать ему доброе!

Лжедимитрий действовал, как и прежде: ветрено и безрассудно; то желал снискать любовь Россиян, то умышленно оскорблял их. Современники рассказывают следующее происшествие: «Он велел сделать зимою ледяную крепость, близ Вяземы, верстах в тридцати от Москвы, и поехал туда с своими телохранителями, с конною дружиною Ляхов, с Боярами и лучшим воинским Дворянством. Россиянам надлежало защищать городок, а Немцам взять его приступом: тем и другим, вместо оружия, дали снежные комы. Начался бой, и Самозванец, предводительствуя Немцами, первый ворвался в крепость; торжествовал победу; говорил: *так возьму Азов* — и хотел нового приступа. Но многие из Россиян обливались кровию: ибо Немцы во время схватки, бросая в них снегом, бросали и камнями. Сия худая шутка, оставленная Царем без наказания и даже без выговора, столь озлобила Россиян, что Лжедимитрий, опасаясь действительной сечи между ими, телохранителями и Ляхами, спешил развести их и возвратиться в Москву». Ненависть к иноземцам, падая и на пристрастного к ним Царя, ежедневно усиливалась в народе от их дерзости: например, с дозволения Лжедимитриева имея свободный вход в наши церкви, они бесчинно гремели там оружием, как бы готовясь к битве; опирались, ложились на гробы Святых. Не менее жаловались Москвитяне и на Козаков, сподвижников расстригиных: величаясь своею услугою, сии люди грубые оказывали к ним презрение и называли их в ругательство Жидами; суда не было. — Но самым злейшим врагом Лжедимитрия сделалось Духовенство. Как бы желая унижить сан монашества, он срамил Иноков в случае их гражданских преступлений, бесчестною торговою казнию, занимал деньги в богатых обителях и не думал платить сих долгов значительных; наконец велел представить себе опись имению и всем доходам монастырей, изъявив мысль оставить им только необходимое для умеренного содержания старцев, а все прочее взять на жалованье войску: то есть смелый бродяга, бурю кинутый на престол шаткий и новою бурю

угрожаемый, хотел прямо, необиновенно совершить дело, на которое не отважились Государи законные, Иоанны III и IV, в тишине бесспорного властвования и повиновения неограниченного! Дело менее важное, но не менее безрассудное также возбудило негодование Белого Московского Духовенства: Лжедимитрий выгнал всех Арбатских и Чертольских Священников из их домов, чтобы поместить там своих иноземных телохранителей, которые жили большею частию в слободе Немецкой, слишком далеко от Кремля. Пастыри душ, в храмах торжественно молясь за мнимого Димитрия, тайно кляли в Нем врага своего и шептали прихожанам о Самозванце, гонителе церкви и благоприятеле всех ересей: ибо он, дозволив Иезуитам служить Латинскую Обедню в Кремле, дозволил и Лютеранским Пасторам говорить там проповеди, чтобы его телохранители не имели труда ездить для моления в отдаленную Немецкую слободу.

В сие время явление нового Самозванца также повредило расстриге в общем мнении. Завидуя успеху и чести Донцов, их братья, Козаки Волжские и Терские, назвали одного из своих товарищей, молодого Козака Илейку, сыном Государя Феодора Иоанновича, Петром, и выдумали сказку, что Ирина в 1592 году разрешилась от бремени сим Царевичем, коего властолюбивый Борис умел скрыть и подменил девочкою (Феодосию). Их собралось 4000, к ужасу путешественников, особенно людей торговых: ибо сии мятежники, сказывая, что идут в Москву с Царем, грабили всех купцев на Волге, между Астраханью и Казанью, так что добычу их ценили в 300 тысяч рублей; а Лжедимитрий не мешал им злодействовать и писал к мнимому Петру — вероятно, желая заманить его в сети — что если он истинный сын Феодоров, то спешил бы в столицу, где будет принят с честью. Никто не верил новому обманщику; но многие еще более уверились в самозванстве расстриги, изъясняя одну басню другою; многие даже думали, что оба Самозванца в тайном согласии; что Лжепетр есть орудие Лжедимитрия; что последний велит Козакам грабить купцев для обогащения казны своей и ждет их в Москву, как новых ревностных союзников для безопаснейшего тиранства над Россиянами, ему ненавистными. Илейка действительно, как пишут, хотел воспользоваться ласковым приглашением расстриги и шел к Москве, но узнал в Свияжске, что мнимого дяди его уже не стало.

По всем известиям, возвращение Князя Василия Шуйского было началом великого заговора и решило судьбу Лжедимитрия, который изготовил легкий успех оногo, досаждая Боярам, Духовенству и народу, презирая Веру и добродетель. Может быть, следуя иным, лучшим

правилам, он удержался бы на троне и вопреки явным уликам в самозванстве; может быть, осторожнейшие из Бояр не захотели бы свергнуть властителя хотя и незаконного, но благоразумного, чтобы не предать отечества в жертву безначалию. Так, вероятно, думали многие в первые дни расстригина Царствования: ведая, кто он, надеялись по крайней мере, что сей человек удивительный, одаренный некоторыми блестящими свойствами, заслужит счастье делами достохвальными; увидели безумие — и восстали на обманщика: ибо Москва, как пишут, уже не сомневалась тогда в единстве Отрепьева и Лжедмитрия. Любопытно знать, что самые ближние люди расстригины не скрывали истины друг от друга; сам несчастный Басманов в беседе искренней с двумя Немцами, преданными Лжедмитрию, сказал им: «Вы имеете в Нем отца и благоденствуете в России: молитесь о здравии его вместе со мною. Хотя он и *не сын Иоаннов*, но Государь наш: ибо мы *присягали* ему, и лучшего найти не можем». Так Басманов оправдывал свое усердие к Самозванцу. Другие же судили, что *присяга*, данная в заблуждении или в страхе, не есть истинная: сию мысль еще недавно внушали народу друзья Лжедмитриевы, склоняя его изменить юному Феодору; сею же мыслию успокоивал и Шуйский Россиян добросовестных, чтобы низвергнуть бродягу. Надлежало открыться множеству людей разного звания, иметь сообщников в Синклите, Духовенстве, войске, гражданстве. Шуйский уже испытал опасность ковов, лежав на плахе от нескромности своих клеветов; но с того времени общая ненависть ко Лжедмитрию созрела и ручалась за вернейшее хранение тайны. Но крайней мере не нашлося предателей-изветников — и Шуйский умел, в глазах Самозванца, ежедневно с ним веселясь и пируя, составить заговор, коего нить шла от Царской Думы чрез все степени Государственные до народа Московского, так что и многие из ближних людей Отрепьева, выведенные из терпения его упрямством в неблагоприятии, пристали к сему кову. Распускали слухи зловредные для Самозванца, истинные и ложные: говорили, что он, пылая жаждою кровопролития безумного, в одно время грозит войною Европе и Азии. Лжедмитрий несомнительно думал воевать с Султаном, назначил для того Посольство к Шаху Аббасу, чтобы приобрести в Нем важного сподвижника, и велел дружинам Детей Боярских идти в Елец, отправив туда множество пушек; грозил и Швеции; написал к Карлу: «Всех соседственных Государей уведомив о своем воцарении, уведомляю тебя единственно о моем дружестве с законным Королем Шведским Сигизмундом, требуя, чтобы ты возвратил ему державную власть,

похищенную тобою вероломно, вопреки уставу Божественному, естественному и народному праву — или вооружишь на себя могущественную Россию. Усовестись и размысли о печальном жребии Бориса Годунова: так Всевышний казнит похитителей — казнит и тебя». Уверяли еще, что Лжедмитрий вызывает Хана опустошать южные владения России и, желая привести его в бешенство, Послал к Нему в дар шубу из свиных кож: басня опровергаемая современными Государственными бумагами, в коих упоминается о мирных, дружественных сношениях Лжедмитрия с Казы-Гиреем и дарах обыкновенных. Говорили справедливее о намерении или обещании самозванца предать нашу Церковь Папе и знатную часть России Литве: о чем сказывал Боярам Дворянин Золотой-Квашнин, беглец Иоаннова времени, который долго жил в Польше. Говорили, что расстриг ждет только Воеводы Сендомирского с новыми шайками Ляхов для исполнения своих умыслов, гибельных для отечества. Уже начальники заговора хотели было приступить к делу; но отложили удар до свадьбы Лжедмитриевой для того ли, как пишут, чтобы с невестою и с ее ближними возвратились в Москву древние Царские сокровища, раздаренные им щедростию Самозванца, или для того, чтобы он имел время и способ еще более озлобить Россиян новыми беззакониями, предвиденными Шуйским и друзьями его?

Между тем два или три случая, не будучи в связи с заговором, могли потревожить Самозванца. Ему донесли, что некоторые стрельцы всенародно злословят его, как врага Веры: он призвал всех Московских стрельцов с головою Григорием Микулиным, объявил им дерзость их товарищей и требовал, чтобы верные воины судили изменников: Микулин обнажил меч, и хулители лжецаря, не изъявляя ни раскаяния, ни страха, были иссечены в куски своими братьями: за что Самозванец пожаловал Микулина, как усердного слугу, в Дворяне Думные, а народ возненавидел, как убийцу великодушных страдальцев. Таким же мучеником хотел быть и Дьяк Тимофей Осипов: пылая ревностию изобличить расстригу, он несколько дней говел дома, приобщился Святых Таин и торжественно, в палатах Царских, пред всеми Боярами, назвал его *Гришкою Отрепьевым, рабом греха, еретиком*. Все изумились, и сам Лжедмитрий безмолвствовал в смятении: опомнился и велел умертвить сего в истории незабвенного мужа, который своею кровию, вместе с Немногими другими, искупал Россиян от стыда повиноваться бродяге. Пишут, что и стрельцы и Дьяк Осипов, прежде их убиения, были допрашиваемы Басмановым, но никого не оговорили в единомыслии с ними. Не менее бесстрашным оказал себя и

знаменитый слепец, так называемый Царь Симеон: будучи ревностным Христианином и слыша, что Лжедмитрий склоняется к Латинской Вере, он презрел его милость и ласки, всенародно изъявлял негодование, убеждал истинных сынов Церкви умереть за ее святые уставы: Симеона, обвиняемого в неблагодарности, удалили в монастырь Соловецкий и постригли. Тогда же чиновник известный способностями ума и гибкостью нрава, был в равной доверенности у Бориса и Самозванца, Думный Дворянин Михайло Татищев, вдруг заслужил опалу смелостию, в Нем совсем необыкновенною. Однажды, за столом Царским, Князь Василий Шуйский, видя блюдо телятины, в первый раз сказал Лжедмитрию, что не должно подчивать Россиян яствами, для них гнусными; а Татищев, пристав к Шуйскому, начал говорить столь невежливо и дерзко, что его вывели из дворца и хотели сослать на Вятку; но Басманов чрез две недели исходатайствовал ему прощение (себе на гибель, как увидим). Сей случай возбудил подозрение в некоторых ближних людях Отрепьева и в нем самом: думали, что Шуйский завел сей разговор с умыслом и что Татищев не даром изменил своему навыку; что они, зная вспыльчивость Лжедмитрия, хотели вырвать из него какое-нибудь слово нескромное и во вред ему разгласить о том в городе; что у них должно быть намерение дальновидное и злое. К счастью, Лжедмитрий, по нраву и правилам неопасливый, скоро оставил сию беспокойную мысль, видя вокруг себя лица веселые, все знаки усердия и преданности, особенно в Шуйском, и всего более думая тогда о великолепном приеме Марины.

Но Воевода Сендомирский как долго не трогался с места, так медленно и путешествовал; везде останавливался, пировал, к досаде своего провожатого, Афанасия Власьева, и еще из Минска писал в Москву, что ему нельзя выехать из Литовских владений, пока Царь не заплатит Королю *всего долга*, что грубость излишно ревностного слуги Власьева, нудящего их *не ехать, а лететь* в Россию, несносна для него, ветхого старца, и для нежной Марины. Самозванец не жалел денег: обязался удовлетворить всем требованиям Сигизмундовым, прислал 5000 червонцев в дар невесте, и сверх того 5000 рублей и 13000 талеров на ее путешествие до пределов России; но изъявил неудовольствие. «Вижу, — писал он к Мнишку, — что вы едва ли и весною достигнете нашей столицы, где можете не найти меня: ибо я намерен встретить лето в стане моего войска и буду в поле до зимы. Бояре, высланные ждать вас на рубеж, истратили в сей голодной стране все свои запасы и должны будут возвратиться, к стыду и поношению Царского имени». Мнишек в досаде хотел ехать назад; однако ж,

извинив колкие выражения будущего зятя нетерпением его страстной любви, 8 Апреля въехал в Россию.

Пишут, что Марина, оставляя навеки отечество, неутешно плакала в горестных предчувствиях и что Власьев не мог успокоить ее велеречивым изображением ее славы. Воевода Сендомирский желал блеснуть пышностью: с ним было родственников, приятелей и слуг не менее двух тысяч, и столько же лошадей. Марина ехала между рядами конницы и пехоты. Мнишек, брат и сын его, Князь Вишневецкий и каждый из знатных Панов имел свою дружину воинскую. На границе приветствовали невесту Царедворцы Московские, а за местечком Красным Бояре, Михайло Нагой (мнимый дядя Лжедмитриев) и Князь Василий Мосальский, который сказал отцу ее, что знаменитейшие Государи Европейские хотели бы выдать дочерей своих за Дмитрия, но что Дмитрий предпочитает им его дочь, умея любить и быть благодарным. Оттуда повезли Марину на двенадцати белых конях, в санях великолепных, украшенных серебряным орлом; возницы были в парчовой одежде, в черных лисьих шапках; впереди ехало двенадцать знатных всадников, которые служили путеводителями и кричали возницам, где видели камень или яму. Несмотря на весеннюю распутицу, везде исправили дорогу, везде построили новые мосты и дома для ночлегов. В каждом селении жители встречали невесту с хлебом и солью, Священники с иконами. Граждане в Смоленске, Дорогобуже, Вязме подносили ей многоценные дары от себя, а сановники вручали письма от жениха с дарами еще богачейшими. Все старались угождать не только будущей Царице, но и спутникам ее, надменным Ляхам, которые вели себя нескромно, грубили Россиянам, притворно смиренным, и, достигнув берегов Угры, вспомнили, что тут была древняя граница Литвы — надеялись, что и будет снова: ибо Мнишек вез с собою владенную грамоту, данную ему Самозванцем, на княжение Смоленское!.. Оставив Марину в Вязме, Сендомирский Воевода с сыном и Князем Вишневецким спешили в Москву для некоторых предварительных условий с Царем относительно к браку.

25 Апреля, имев пышный въезд в столицу, Мнишек с восторгом увидел будущего зятя на великолепном троне, окруженном Боярами и Духовенством: Патриарх и Епископы сидели на правой стороне, Вельможи на левой. Мнишек целовал руку Лжедмитриеву; говорил речь и не находил слов для выражения своего счастья. «Не знаю (сказал он), какое чувство господствует теперь в душе моей: удивление ли чрезмерное или радость неописанная? Мы проливали некогда слезы умиления, слушая повесть о жалостной, мнимой кончине Дмитрия, и

видим его воскресшего! Давно ли с горестию иного рода, с участием искренним и нежным, я жал руку изгнанника, моего гостя печального, и сию руку, ныне державную, лобызаю с благоговением!.. О счастье! как ты играешь смертными! Но что говорю? не слепому счастью, а Провидению дивимся в судьбе твоей: Оно спасло тебя и возвысило, к утешению России и всего Христианства. Уже известны мне твои блестящие свойства: я видел тебя в пылу битвы неустрашимого, в трудах воинских неутомимого, к хладу зимнему нечувствительного... ты бодрствовал в поле, когда и звери севера в своих норах таились. История и Стихотворство прославят тебя за мужество и за многие иные добродетели, которые спешит открыть в себе миру; но я особенно должен славить твою высокую ко мне милость, щедрую награду за мое к тебе раннее дружество, которое предупредило честь и славу твою в свете: ты делишь свое величие с моей дочерью, умея ценить ее нравственное воспитание и выгоды, данные ей рождением в Государстве свободном, где Дворянство столь важно и сильно, — а всего более зная, что одна добродетель есть истинное украшение человека». Лжедимитрий слушал с видом чувствительности, непрестанно утирая себе глаза платком, но не сказал ни слова: вместо Царя отвечивал Афанасий Власьев. Началось роскошное угощение. Мнишек обедал у Лжедимитрия в новом дворце, где Поляки хвалили и богатство и вкус украшений. Честя гостя, Самозванец не хотел однако ж сидеть с ним рядом: сидел один за *серебряною трапезою* и в знак уважения велел только подавать ему, сыну его и Князю Вишневецкому золотые тарелки. Во время обеда привели двадцать лопарей, бывших тогда в Москве с данию, и рассказывали любопытным иноземцам, что сии странные дикари живут на краю света, близ *Индии* и Ледовитого моря, не зная ни домов, ни теплой пищи, ни законов, ни Веры: Лжедимитрий хвалился неизмеримостию России и чудным разнообразием ее народов. Вечеру играли во дворце Польские музыканты; сын Воеводы Сендомирского и Князь Вишневецкий танцевали; а Лжедимитрий забавлялся переодеванием, ежечасно являясь то Русским щеголем, то Венгерским Гусаром! Пять или шесть дней угощали Мнишка изобильными, бесконечными обедами, ужинами, звериною ловлею, в коей Лжедимитрий, как обыкновенно, блистал искусством и смелостию: бил медведей рогатиною, отсекал им голову саблею и веселился громкими восклицаниями Бояр: «слава Царю!» — В сие время занимались и делом.

Лжедимитрий писал еще в Краков к Воеводе Сендомирскому, что Марина, как Царица Российская, должна по крайней мере наружно

читать Веру Греческую и следовать обрядам; должна также наблюдать обычаи Московские и *не убирать волос* . но Легат Папский Рангони с досадою отвечал на первое требование, что Государь Самодержавный не обязан угождать бессмысленному народному суеверию; что Закон не воспрещает брака между Христианами Греческой и Римской Церкви и не велит супругам жертвовать друг другу совестью; что самые предки Димитриевы, когда хотели жениться на Княжнах Польских, всегда оставляли им свободу в Вере. Сие затруднение было, кажется, решено в беседах Лжедмитрия с Воеводою Сендомирским и с нашим Духовенством: условились, чтобы Марина ходила в Греческие Церкви, приобщалась Святых Таин от Патриарха и постилась еженедельно не в Субботу, а в Среду, имея однако ж свою Латинскую Церковь и наблюдая все иные уставы Римской Веры. Патриарх Игнатий был доволен; другие Святители молчали, все, кроме Митрополита Казанского Ермогена и Коломенского Епископа Иосифа, сосланных расстригою за их смелость: ибо они утверждали, что невесту должно *крестить* , или женитьба Царя будет беззаконием. Гордяся хитрою политикою — удовольствовав, как он думал, и Рим и Москву — устроив все для торжественного бракосочетания и принятия невесты, Лжедмитрий дал ей знать, что ждет ее с нежным чувством любовника и с великолепием Царским.

Марина дня четыре жила в Вяземе, бывшем селе Годунова, где находился его дворец, окруженный валом, и где в каменном храме, донныне целом, видны еще многие Польские надписи Мнишковых спутников. 1 Мая, верст за 15 от Москвы, встретили будущую Царицу купцы и мещане с дарами — 2 мая, близ городской заставы, Дворянство и войско: Дети Боярские, стрельцы, Козаки (все в красных суконных кафтанах, с белою перевязью на груди), Немцы, Поляки, числом до ста тысяч. Сам Лжедмитрий был тайно в простой одежде между ими, вместе с Басмановым расставил их по обеим сторонам дороги и возвратился в Кремль. Не въезжая в город, на берегу Москвы-реки, Марина вышла из кареты и вступила в великолепный шатер, где находились Бояре: Князь Мстиславский говорил ей приветственную речь; все другие кланялись до земли. У шатра стояли 12 прекрасных верховых коней в дар невесте, и богатая колесница, украшенная серебряными орлами Царского герба и запряженная десятью пегими лошадьми: в сей колеснице Марина въехала в Москву, будучи сопровождаема своими ближними, Боярами, чиновниками и тремя дружинами Царских телохранителей; впереди шло 300 гайдуков с

музыкантами, а позади ехало 13 карет и множество всадников. Звонили в колокола, стреляли из пушек, били в барабаны, играли на трубах — а народ безмолвствовал; смотрел с любопытством, но изъявлял более печали, нежели радости, и заметил *вторично* бедственное предзнаменование: уверяют, что в сей день свирепствовала буря, так же, как и во время расстригина вступления в Москву. Пред воротами Кремлевскими, на возвышенном месте площади (где встретило бы невесту Царскую Духовенство с крестами, если бы сия невеста была Православная), встретили Марину новые толпы литаврщиков, производя несносный для слуха шум и гром. При въезде ее в Спасские ворота музыканты Польские играли свою народную песню: *навекы в счастье и несчастье*, колесница остановилась в Кремле у Девичьего монастыря: там невеста была принята Царицею-Инокинею; там увидела и жениха — и жила до свадьбы, отложенной на шесть дней еще для некоторых приготовлений.

Между тем Москва волновалась. Поместив Воеводу Сендомирского в Кремлевском доме Борисовом (вертепе Царевубийства!), взяли для его спутников все лучшие дворы в Китае, в Белом городе и выгнали хозяев, не только купцев, Дворян, Дьяков, людей духовного сана, но и первых Вельмож, даже мнимых родственников Царских, Нагих: сделался крик и вопль. — С другой стороны, видя тысячи гостей незваных, с ног до головы вооруженных, — видя, как они еще из телег своих вынимали запасные сабли, копья, пистолеты, Москвитяне спрашивали у Немцев, ездят ли в их землях на свадьбу, как на битву? и говорили друг другу, что Поляки хотят овладеть столицею. В один день с Мариною въехали в Москву великие Послы Сигизмундовы, Паны Олесницкий и Госевский, также с воинскою многочисленною дружиною и также к беспокойству народа, который думал, что они приехали за венцом Марины и что Царь уступает Литве все земли от границы до Можайска — мнение несправедливое, как доказывают бумаги сего Посольства: Олесницкий и Госевский должны были только вместо Короля присутствовать на свадьбе Лжедмитрия, утвердить Сигизмундову с ним дружбу и союз с Россиею, не требуя ничего более. Самозванец, по сказанию летописца, зная молву народную о грамоте, данной им Мнишку на Смоленск и Северскую область, говорил Боярам, что не уступит ни пяди Российской Ляхам — и, может быть, говорил искренно: может быть, обманывая папу, обманул бы и тестя и жену свою; но Бояре, по крайней мере Шуйский с друзьями, не старались переменить худых мыслей народа о Лжедмитрии, который новыми соблазнами еще усилил общее

негодование.

Доброжелатели сего безрассудного хотели уверить благочестивых Россиян, что Марина в уединенных, недоступных келиях учится нашему Закону и постится, готовясь к крещению: в первый день она действительно казалась постницею, ибо ничего не ела, гнушаясь Русскими яствами; но жених, узнав о том, прислал к ней в монастырь поваров отца ее, коим отдали ключи от Царских запасов и которые начали готовить там обеды, ужины, совсем не монастырские. Марина имела при себе одну служанку, никуда не выходила из келий, не ездила даже и к отцу; но ежедневно видела страстного Лжедмитрия, сидела с ним наедине или была увеселяема музыкою, пляскою и песнями не Духовными. Расстрига вводил скоморохов в обитель тишины и набожности, как бы ругаясь над святым местом и саном Инокинь непорочных. Москва свела о том с омерзением.

Соблазн иного рода, плод ветрености Лжедмитриевой, изумил Царедворцев. 3 Мая расстрига торжественно принимал в золотой палате знатных Ляхов, родственников Мнишковых и Послов Королевских. Гофмейстер Марины, Стадницкий, именем всех ее ближних говоря речь, сказал ему: «Если кто-нибудь удивится твоему союзу с Домом Мнишка, первого из Вельмож Королевских, то пусть заглянет в историю Государства Московского: прадед твой, думаю, был женат на дочери Витовта, а дед на Глинской — и Россия жаловалась ли на соединение Царской крови с Литовскою? ни мало. Сим браком утверждаешь ты связь между двумя народами, которые сходят в языке и в обычаях, равны в силе и доблести, но доньше не знали мира искреннего и своею закошеною враждою тешили неверных; ныне же готовы, как истинные братья, действовать единодушно, чтобы низвергнуть Луну ненавистную... и слава твоя, как солнце, воссияет в странах Севера». За родственниками Воеводы Сендомирского, важно и величаво, шли Послы. Лжедмитрий сидел на престоле: сказав Царю приветствие, Олесницкий вручил Сигизмундову грамоту Афанасию Власьеву, который тихо прочитал Самозванцу ее надпись, и возвратил бумагу Послам, говоря, что она писана к какому-то *Князю* Димитрию, а Монарх Российский есть *Цесарь*, что Послы должны ехать с нею обратно к своему Государю. Изумленный Пан Олесницкий, взяв грамоту, сказал Лжедмитрию: «Принимаю с благоговением; но что делается? оскорбление беспримерное для Короля, — для всех знаменитых Ляхов, стоящих здесь пред тобою, — для всего нашего отечества, где мы еще недавно видели тебя, осыпаемого ласками и благодеяниями! Ты с презрением отвергаешь письмо его величества на

сем троне, на коем сидишь по милости Божией, Государя моего и народа Польского!»... Такое нескромное слово оскорбляло всех Россиян не менее Царя; но Лжедимитрий не мыслил выгнать дерзкого Пана и как бы обрадовался случаю блистать своим красноречием; велел снять с себя корону и сам отвечал следующее: «Необыкновенное, неслыханное дело, чтобы Венценоscopy, сидя на престоле, спорили с иноземными Послами; но Король упрямством выводит меня из терпения. Ему изъяснено и доказано, что я не только Князь, не только Господарь и Царь, но и Великий Император в своих неизмеримых владениях. Сей титул дан мне Богом, и не есть одно пустое слово, как титулы иных Королей; ни Ассирийские, ни Мидийские, ниже Римские Цесари не имели действительнейшего права так именоваться. Могу ли быть доволен названием Князя и Господаря, когда мне служат не только Господари и Князья, но и Цари? Не вижу себе равного в странах полуночных; надо мною один Бог. И не все ли Монархи Европейские называют меня Императором? Для чего же Сигизмунд того не хочет? Пан Олесницкий! спрашиваю: мог ли бы ты принять на свое имя письмо, если бы в его надписи не было означено твое шляхетское достоинство?... Сигизмунд имел во мне друга и брата, какого еще не имела Республика Польская; а теперь вижу в Нем своего зложелателя». Извиняясь в худом витийстве неспособностью говорить без приготовления, а в смелости навыком человека свободного, Олесницкий с жаром и грубостью упрекал Лжедимитрия неблагодарностью, забвением милостей Королевских, безрассудностью в требовании титула нового, без всякого права; указывая на Бояр, ставил их в свидетели, что Венценоscopy Российские никогда не думали именоваться *Цесарями*, предавал Самозванца суду Божию за кровопролитие, вероятное следствие такого неумеренного честолюбия. Самозванец возражал; наконец смягчился и звал Олесницкого к руке не в виде Посла, а в виде своего доброго знакомца: но разгоряченный Пан сказал: «или я Посол или не могу целовать руки твоей» — и сею твердостью принудил расстригу уступить: «для того (сказал Власьев), что Царь, готовясь к брачному веселию, расположен к снисходительности и к мирным чувствам». Грамоту Сигизмундову взяли, Послам указали места, и Лжедимитрий спросил о здоровье Короля, но сидя: Олесницкий хотел, чтоб он для сего вопроса, в знак уважения к Королю, привстал, и расстрига исполнил его желание — одним словом, унизил, остыдил себя в глазах Двора явлением непристойным, досадив вместе и Ляхам и Россиянам. С честью отпустив Послов в их дом, Лжедимитрий велел Дьяку Грамотину

сказать им, что они могут жить, как им угодно, без всякого надзора и принуждения: видаться и говорить, с кем хотят; что обычаи переменились в России, и спокойная любовь к свободе заступила место недоверчивого тиранства; что гостеприимная Москва ликует, в первый раз видя такое множество Ляхов, а Царь готов удивить Европу и Азию дружбою своею к Королю, если он признает его Императором из благодарности за титул *Шведского*, отнятый Борисом у Сигизмунда, но возвращаемый ему Димитрием. — Делом Государственного союза хотели заняться после свадьбы Царской: ибо Лжедимитрий не имел времени мыслить о делах, занимаясь единственно невестою и гостями.

В монастыре веселились, во дворце пировали. Жених ежедневно дарил невесту и родных ее, покупая лучшие товары у купцов иноземных, коих множественно наехало в Москву из Литвы, Италии и Германии. За два дня до свадьбы принесли Марине шкатулку с узорочьями, ценою в 50 тысяч рублей, а Мнишку выдали еще 100 тысяч золотых для уплаты остальных долгов его, так что казна издержала в сие время на одни дары 800000 (нынешних серебряных 4000000) рублей, кроме миллионов, издержанных на путешествие или угощение Марины с ее ближними. Лжедимитрий хотел Царскою роскошью затмить Польскую: ибо Воевода Сендомирский и другие знатные Ляхи также не жалели ничего для внешнего блеска, имели богатые кареты и прекрасных коней, рядили слуг в бархат и готовились жить пышно в Москве (куда Мнишек привез 30 бочек одного вина Венгерского). Но самая роскошь гостей озлобляла народ: видя их великолепие, Москвитяне думали, что оно есть плод расхищения казны Царской; что достояние отечества, собранное умом и трудами наших Государей, идет в руки вечных неприятелей России.

7 Маия, ночью, невеста вышла из монастыря и при свете двухсот факелов, в колеснице окруженной телохранителями и Детьми Боярскими, переехала во дворец, где, в следующее утро, совершилось обручение по уставу нашей Церкви и древнему обычаю; но, вопреки сему уставу и сему обычаю, в тот же день, накануне Пятницы и Святого Праздника, совершился и брак: ибо Самозванец не хотел ни одним днем своего счастья жертвовать, как он думал, народному предрассудку. Невесту для обручения ввели в столовую палату Княгиня Мстиславская и Воевода Сендомирский. Тут присутствовали только ближайшие родственники Мнишковы и чиновники свадебные: Тысяцкий Князь Василий Шуйский, дружки (брат его и Григорий Нагой), свахи и весьма Немногие из Бояр. Марина, усыпанная алмазами, яхонтами, жемчугом, была в Русском, красном бархатном

платье с широкими рукавами и в сафьянных сапогах; на голове ее сиял венец. В таком же платье был и самозванец, также с головы до ног блистая алмазами и всякими камнями драгоценными. Духовник Царский, Благовещенский Протоиерей, читал молитвы; дружки резали караван с сырами и разносили ширинки. Оттуда пошли в Грановитую палату, где находились все Бояре и сановники Двора, знатные Ляхи и Послы Сигизмундовы. Там увидели Россияне важную новость: два престола, один для Самозванца, другой для Марины — и Князь Василий Шуйский сказал ей: «Наияснейшая Великая Государыня, *Цесарева* Мария Юриевна! Волею Божию и непобедимого Самодержца, Цесаря и Великого Князя всея России, ты избрана быть его супругою: вступи же на свой Цесарский *маестат* и властвуй вместе с Государем над нами!» Она села. Вельможа Михайло Нагой держал пред нею корону Мономахову и диадему. Велели Марине поцеловать их и Духовнику Царскому нести в храм Успения, где уже все изготовили к торжественному обряду, и куда, по разостланным сукнам и бархатам, вел жениха Воевода Сендомирский, а невесту княгиня Мстиславская; впереди шли, сквозь ряды телохранителей и стрельцов, Стольники, Стряпчие, все знатные Ляхи, чиновники свадебные, Князь Василий Голицын с жезлом или скиптром, Басманов с державою; позади Бояре, люди Думные, Дворяне и Дьяки. Народа было множество. В церкви Марина приложилась к образам — и началось священнодействие, дотоле беспрецедентное в России: Царское венчание невесты, коим Лжедмитрий хотел удовлетворить ее честолюбие, возвысить ее в глазах Россиян и, может быть, дать ей, в случае своей смерти и неимения детей, право на державство. Среди храма, на возвышенном, так называемом *чертожном* месте сидели жених, невеста и Патриарх: первый на золотом троне Персидском вторая на серебряном. Лжедмитрий говорил речь: Патриарх ему отвечал и с молитвою возложил Животворящий Крест на Марину, бармы, диадему и корону (для чего свахи сняли головной убор или венец невесты). Лики пели многолетие Государю и *благочестивой Цесареве Марии*, которую Патриарх на Литургии украсил цепью Мономаховою, помазал и причастил. Таким образом, дочь Мнишкова, еще не будучи супругою Царя, уже была венчанною Царицею (не имела только Державы и скиптра). Духовенство и Бояре целовали ее руку с обетом верности. Наконец выслали всех людей, кроме знатнейших, из церкви, и Протопоп Благовещенский обвенчал расстригу с Мариною. Держа друг друга за руку, оба в коронах, и Царь и Царица (последняя опираясь на Князя Василия Шуйского) вышли из храма уже в час вечера и были

громко приветствуемы звуком труб и литавр, выстрелами пушечными и колокольным звоном, но тихо и невнятно народными восклицаниями. Князь Мстиславский, в дверях осыпав новобрачных золотыми деньгами из богатой мисы, кинул толпам граждан все остальные в ней червонцы и медали (с изображением орла двуглавого). Воевода Сендомирский и Немногие Бояре обедали с Лжедмитрием в столовой палате; но сидели недолго: встали и проводили его до спальни, а Мнишек и Князь Василий Шуйский до постели. Все утихло во дворце. Москва казалась спокойною: праздновали и шумели одни Ляхи, в ожидании брачных пиров Царских, новых даров и почестей. Не праздновали и не дремали клеветы Шуйского: время действовать наступало.

Сей день, радостный для самозванца и столь блестящий для Марины, еще усилил народное негодование. Невзирая на все безрассудные дела расстриги, Москвитяне думали, что он не дерзнет дать сана Российской Царицы иноверке и что Марина примет Закон наш; ждали того до последнего дня и часа: увидели ее в короне, в венце брачном и не слышали отречения от Латинства. Хотя Марина целовала наши святые иконы, вкусила тело и кровь Христову из рук Патриарха, была помазана елеем и торжественно возглашена *благочестивою Царицею* : но сие явное действие лжи казалось народу новою дерзостью беззакония, равно как и Царское венчание Польской Шляхетки, удостоенной величия не слыханного и не доступного для самых Цариц, истинно благоверных и добродетельных: для Анастасии, Ирины и Марии Годуновой. Корона Мономахова на главе иноземки, племени ненавистного для тогдашних Россиян, вопияла к их сердцам о мести за осквернение святыни. Так мыслил народ, или такие мысли внушали ему еще невидимые вожди его в сие грозное будущим время. — Ничто не укрывалось от наблюдателей строгих. Только Немногим из Ляхов расстрига дозволил быть в церкви свидетелями его бракосочетания, но и сии Немногие своим бесчинством возбудили общее внимание: шутили, смеялись или дремали в час Литургии, прислонясь спиною к иконам. Послы Сигизмундовы непременно хотели сидеть, требовали кресел и едва успокоились, когда Лжедмитрий велел сказать им, что и сам он сидит в церкви, на троне, единственно по случаю коронования Марины. Замечая, как Бояре служили Царю — как Шуйские и другие ставили ему и Царице скамьи под ноги — кичливые Паны дивились вслух такой низости и благодарили Бога, что живут в Республике, где Король не смеет требовать столь презрительных услуг от последнего из людей вольных... Россияне видели, слышали и не прощали.

В следующее утро, на рассвете, барабаны и трубы возвестили начало свадебного праздника: сия шумная музыка не умолкала до самого полудня. Во дворце готовился пир для Россиян и Ляхов; но Лжедимитрий, желая веселиться, имел досаду: новую ссору с Королевскими Послами. Он звал их обедать, учтиво и ласково; Послы также учтиво благодарили, хотели однако ж непременно сидеть с Царем за одним столом, как Власьев на свадьбе у Короля сидел за столом Королевским. Лжедимитрий для объяснения прислал к ним Власьева; сей важный чиновник сказал Олесницкому: «Вы требуете неслыханного: у нас никому нет места за особенною Царскою трапезою; Король же угостил меня наравне с Послами Императорским и Римским: следственно не сделал ничего чрезвычайного, ибо Государь наш не менее ни Императора, ни Римского владыки — нет, великий Цесарь Димитрий более их: что у вас Папа, то у него Попы». Так изъяснялся первый делец Государственный и верный слуга расстригин, в душе своей не благоприятствуя Ляхам и желая, может быть, сею непристойною насмешкою доказать, что Лжедимитрий не есть Папист. Олесницкий снес грубость, но решился не ехать во дворец. Все иные знатные Ляхи обедали с Самозванцем в Грановитой палате, кроме Воеводы Сендомирского: он находил требование Послов справедливым, тщетно умолял зятя исполнить оное, проводил его и Марину до столовой комнаты и в неудовольствии уехал домой.

Сия размолвка не мешала блеску пиршества. Новобрачные обедали на троне; за ними стояли телохранители с секирами; Бояре им служили. Играла музыка — и Ляхи удивлялись несметному богатству, видя пред собою горы золота и серебра. Россияне же с негодованием видели Царя в гусарском платье, а Царицу в Польском: ибо оно более нравилось мужу ее, который и накануне едва согласился, чтобы Марина, хотя для венчания, оделась Россиянкою. Вечеру ближние Мнишковы веселились во внутренних Царских комнатах; а в следующий день (10 Мая) Лжедимитрий принимал дары от Патриарха, Духовенства, Вельмож, всех знатных людей, всех купцов чужестранных и снова пировал с ними в Грановитой палате, сидя лицом к иноземцам, спиною к Русским. В золотой палате обедало 150 Ляхов, простых воинов, но избранных, угощаемых Думными Дворянами: налив чашу вина, Лжедимитрий громогласно желал славных успехов оружию Польскому и выпил ее до самого дна. Наконец 11 Мая обедали во дворце и Послы Сигизмундовы с ревностным миротворцем Воеводою Сендомирским, который, убедив зятя дать Олесницкому первое место *возле* стола Царского, уговорил и

сего пана не требовать ничего более и не жертвовать спору о суетной чести выгодами союза с Россиею. Хотя Лжедимитрий едва было не возобновил прения, сказав Олесницкому: «я не звал Короля к себе на свадьбу: следственно ты здесь не в лице его, а только в качестве Посла»; но Мнишек благоразумными представлениями утишил зятя, и все кончилось дружелюбно. Сей третий пир казался еще пышнее. Царь и Царица были в коронах и в Польском великолепном наряде. Тут обедали и женщины: Княгиня Мстиславская, Шуйская и родственницы Воеводы Сендомирского, который, забыв свою дряхлость, не хотел сидеть: держа шапку в руках, стоял пред Царицею и служил ей не как отец, а как подданный, к удивлению всех. Лжедимитрий пил здоровье Короля; вообще пили много, особенно иноземные гости, хваля Царские вина, но жалуясь на яства Русские, для них невкусные. После стола откланялись Царю сановники, коим надлежало ехать к Шаху Персидскому с письмами: они целовали руку у Лжедимитрия и Марины. — 12 Маия Царица в своих комнатах угощала одних Ляхов, пригласив только двух Россиян: Власьева и Князя Василия Мосальского. Услуга и кушанья были Польские, так что Паны, изъявляя живейшее удовольствие, говорили: «Мы пируем не в Москве и не у Царя, а в Варшаве или в Кракове у Короля нашего». Пили и плясали до ночи. Лжедимитрий в гусарской одежде танцевал с женою и с тестем. — Но Царица оказала милость и Россиянам: 14 Маия обедали у нее Бояре и люди чиновные. В сей день она казалась Русскою, верно соблюдая наши обычаи; старалась быть и любезною, всех приветствуя и лаская... Но приветствия уже не трогали сердец ожесточенных! Между тем не умолкала в столице музыка: барабаны, литавры, трубы с утра до вечера оглушали жителей. Ежедневно гремели и пушки в знак веселия Царского; не щадили пороху и в пять или в шесть дней истратили его более, нежели в войну Годунова с Самозванцем. Ляхи также в забаву стреляли из ружей в своих домах и на улицах, днем и ночью, трезвые и пьяные.

Утомленный празднествами, Лжедимитрий хотел заняться делами, и 15 Маия, в час утра, Послы Сигизмундовы нашли его в новом дворце сидящего на креслах, в прекрасной голубой одежде, без короны, в высокой шапке, с жезлом в руке, среди множества Царедворцев: он велел Послам идти к Боярам в другую комнату, чтобы объяснить им предложения Сигизмундовы. Князь Дмитрий Шуйский, Татищев, Власьев и Дьяк Грамотин беседовали с ними. Олесницкий, в речи плодovitой, Ветхим и Новым Заветом доказывал обязанность Христианских Монархов жить в союзе и противиться неверным;

оплакивал падение Константинополя и несчастье Иерусалима; хвалил великодушное намерение Царя освободить их от бедственного ига и заключил тем, что Сигизмунд, пылая усердием разделить с братом своим, Димитрием, славу такого предприятия, желает знать, когда и с какими силами он думает идти на Султана? Татищев отвечал: «Король хочет знать: верим; но хочет ли действительно помогать непобедимому Цесарю в войне с Турками? сомневаемся. Желание все выведать, с намерением ничего не делать, кажется нам только обманом и лукавством». Удивляясь дерзости Татищева (который говорил невежливо, ибо уже знал о скорой перемене обстоятельств), Послы свидетельствовали Власьевым, что не Сигизмунд Димитрию, а Димитрий Сигизмунду предложил воевать Оттоманскую Державу: следственно и должен объявить ему свои мысли о способах успеха. Тут Российские чиновники оставили Послов, ходили к Лжедимитрию, возвратились и, сказав: «сам Цесарь будет говорить с вами в присутствии Бояр», отпустили их домой; но мнимый Цесарь уже не мог сдержать слова!

Еще Лжедимитрий готовил потехи новые; велел строить деревянную крепость с земляною осыпью вне города, за Сретенскими воротами, и вывести туда множество пушек из Кремля, чтобы 18 Мая представить Ляхам и Россиянам любопытное зрелище приступа, если не кровопролитного, то громозвучного, коему надлежало заключиться пиршеством общенародным. Марина также замышляла особенное увеселение для Царя и людей ближних во внутренних комнатах дворца: думала с своими Польками плясать в личинах. Но Россияне уже не хотели ждать ни той, ни другой потехи.

Если Шуйский отложил удар до свадьбы Отрепьева с намерением дать ему время еще более возмутить сердца своим легкомыслием, то сие предвидение исполнилось: новые соблазны для церкви, двора и народа умножили ненависть и презрение к Самозванцу, а наглость Ляхов все довершила, так что им обязанный счастьем, он их же содействием и погибнул! Сии гости и друзья его служивали хитрому Шуйскому, истощая терпение Россиян, столь мало ими уважаемых (как мы видели), что Мнишек нескромно обещал Боярам свою *милость*, и Посол Королевский дерзнул торжественно назвать Лжедимитрия творением Сигизмундовым. На самых пирах свадебных, во дворце, разгоряченные вином Ляхи укоряли Воевод наших трусостию и малодушием, хваляся: «мы дали вам Царя!» Но Россияне, сколь ни униженные, сколь ни виновные пред отечеством и добродетелию, еще имели гордость народную; кипели злобою, но удерживались и шептали

друг другу: «час мести недалеко!» Сего мало: воины Польские и даже чиновнейшие Ляхи, нетрезвые возвращаясь из дворца с обнаженными саблями, на улицах рубили Москвитян, бесчестили жен и девиц, самых благородных, силою извлекая их из колесниц или вламываясь в дома; мужья, матери вопили, требовали суда. Одного Ляха-преступника хотели казнить, но товарищи освободили его, умертвив палача и не страшась закона.

Так было — и на беззаконие восстало беззаконие. Мы удивлялись легкому торжеству Самозванца: теперь удивимся его легкому падению. В то время, как он беспечно тешился и плясал с своими Лягами — когда головы кружились от веселия и мысли затмевались парами вина — Шуйский, неусыпно наблюдая, решился уже не медлить, и в тишине ночи призвал к себе не только сообщников (из коих главными именуется Князь Василий Голицын и Боярин Иван Куракин) — не только друзей, клеветов, но и многих людей сторонних: Дворян Царских, чиновников военных и градских, Сотников, Пятидесятников, которые еще не были в заговоре, благоприятствуя оному единственно в тайне мыслей. Шуйский смело открыл им свою душу; сказал, что отечество и Вера гибнут от Лжедмитрия; извинял заблуждение Россиян; извинял и тех, которые знали истину, но приняли обманщика, желая низвергнуть ненавистных Годуновых, и в надежде, что сей юный витязь, хотя и расстрига, будет добрым властителем. «Заблуждение скоро исчезло, — продолжал он, — и вы знаете, кто первый дерзнул обличать Самозванца; но голова моя лежала на плахе, а злодей спокойно величался на престоле: Москва не тронулась!» Шуйский извинял и сие бездействие: ибо многие еще не имели тогда полного удостоверения в обмане и в злодействе мнимого Дмитрия. Представив все улики и доказательства его самозванства, все его дела неистовые, измену Вере, Государству и нашим обычаям, нравственность гнусную, осквернение храмов и святых обителей, расхищение древней казны Царской, незаконное супружество и возложение венца Мономахова на *Польшу некрещеную* — изобразив сетование Москвы, как бы плененной сонмами Ляхов, — их дерзость и насилия — Шуйский спрашивал, хотят ли Россияне, сложив руки, ждать гибели неминуемой: видеть костелы Римские на месте церквей Православных, границу Литовскую под стенами Москвы, и в самых стенах ее злое господство иноземцев? или хотят дружным восстанием спасти Россию и церковь, для коих он снова готов идти на смерть без ужаса? Не было ни разгласия, ни безмолвия сомнительного: кто не принадлежал, тот пристал к заговору в сем сборище многолюдном, но единодушном

силою ненависти к Самозванцу. Положили *избыть* расстригу и Ляхов, не боясь ни клятвопреступления, ни безначалия: ибо Шуйский и друзья его, овладев умами, смело брали на свою душу, именем отечества, Веры, Духовенства, все затруднения людей совестных и смело обещали России Царя лучшего. Условились в главных мерах. Градские Сотники и Пятидесятники ответствовали за народ, воинские чиновники за воинов, господа за слуг усердных. Богатые Шуйские имели в своем распоряжении несколько тысяч надежных людей, призванных ими в Москву из их собственных владений, будто бы для того, чтобы они видели пышность Царской свадьбы. Назначили день и час; ждали, готовились — и хотя не было *прямых* доносов (ибо доносчики страшились, кажется, быть жертвою народной злобы): но какая скромность могла утаить движения заговора, столь многолюдного?

12 Маия говорили торжественно, на площадях, что мнимый Димитрий есть Царь *поганый*, не чтит святых икон, не любит набожности, питается гнусными яствами, ходит в церковь нечистый, прямо с ложа скверного, и еще ни однажды не мылся в бане с своею *поганою* Царицею; что он без сомнения еретик, и не крови Царской. Лжедимитриево телохранители схватили одного из таких поносителей и привели во дворец: расстрига велел Боярам допросить его; но Бояре сказали, что сей человек пьян и бредит; что Царю не должно уважать речей безумных и слушать Немцев-наушников. Самозванец успокоился. В следующие три дня приметно было сильно движение в народе: разглашали, что Лжедимитрий для своей безопасности мыслит изгубить Бояр, знатнейших чиновников и граждан; что 18 Маия, в час мнимой воинской потехи вне Москвы, на лугу Сретенском, их всех перестреляют из пушек; что столица Российская будет добычею Ляхов, коим Самозванец отдаст не только все дома Боярские, Дворянские и купеческие, но и Святые Обители, выгнав оттуда Иноков и женив их на Инокинях. Москвитяне верили; толпились на улицах днем и ночью; советовались друг с другом и не давали подслушивать себя иноземцам, отгоняя их как лазутчиков, грозя им словами и взорами. Были и драки: уже не спуская гостям буйным, народ прибил людей Князя Вишневецкого и едва не вломился в его дом, изъявляя особенную ненависть к сему Пану, старшему из друзей расстригиных. Немцы остерегали Лжедимитрия и Ляхов; остерегал первого и Басманов, один из Россиян! Но Самозванец, желая более всего казаться неустрашимым и твердым на троне в глазах Поляков, шутил, смеялся, искренно или притворно, и сказал испуганному Воеводе Сендомирскому: «как вы, Ляхи, малодушны!», а Послам Сигизмундовым: «я держу в руке

Москву и Государство; ничто не смеет двинуться без моей воли». В полночь, с 15 на 16 Мая, схватили в Кремле шесть человек подозрительных; пытали их как лазутчиков, ничего не свести, и Лжедмитрий не считал за нужное усилить стражу во дворце, где находилось обыкновенно 50 телохранителей: он велел другим быть дома в готовности на всякий случай; велел еще расставить стрельцов по улицам для охранения Ляхов, чтобы успокоить тестя, докучавшего ему и Марине своею боязнию. — 16 мая иноземцы уже не могли купить в гостином дворе ни фунта пороху и никакого оружия: все лавки были для них заперты. Ночью, накануне решительного дня, вкралось в Москву с разных сторон до 18 тысяч воинов, которые стояли в поле, верстах в шести от города, и должны были идти в Елец, но присоединились к заговорщикам. Уже дружины Шуйского в сию ночь овладели двенадцатью воротами Московскими, никого не пуская в столицу, ни из столицы; а Лжедмитрий еще ничего не знал, увеселяясь в своих комнатах музыкою. Самые Поляки, хотя и не чуждые опасения, мирно спали в домах, уже *ознаменованных* для кровавой мести: Россияне скрытно поставили знаки на оных, в цель удара. Некоторые из панов имели собственную стражу, другие надеялись на Царскую: но стрельцы, их хранители, или сами были в заговоре или не думали кровию Русскою спасать иноплеменников противных. Ночь миновалась без сна для большей части Москвитян: ибо градские чиновники ходили по дворам с тайным приказом, чтобы все жители были готовы стать грудью за церковь и Царство, ополчились и ждали набата. Многие знали, многие и не знали, чему быть надлежало, но угадывали и с ревностию вооружались, чем могли, для великого и святого подвига, как им сказали. Сильнее, может быть, всего действовала в народе ненависть к Ляхам; действовал и стыд иметь Царем бродягу, и страх быть жертвою его безумия, и, наконец, самая прелесть бурного мятежа для страстей необузданных.

17 Мая, в четвертом часу дня, прекраснейшего из весенних, восходящее солнце осветило ужасную тревогу столицы: ударили в колокол сперва у Св. Илии, близ двора гостиного, и в одно время загредел набат в целой Москве, и жители устремились из домов на Красную площадь с копьями, мечами, самопалами, Дворяне, Дети Боярские, стрельцы, люди приказные и торговые, граждане и чернь. Там, близ лобного места, сидели Бояре на конях, в шлемах и латах, в полных доспехах, и представляя в лице своем отечество, ждали народа. Стеклося бесчисленное множество людей, и ворота Спасские растворились: Князь Василий Шуйский, держа в одной руке меч, в

другой Распятие въехал в Кремль, сошел с коня, в храме Успения приложился к святой иконе Владимирской и, воскликнув к тысячам: «во имя Божие идите на злого еретика!» указал им дворец, куда с грозным шумом и криком уже неслись толпы, но где еще Царствовала глубокая тишина! Пробужденный звуком набата, Лжедмитрий в удивлении встает с ложа, спешит одеться, спрашивает о причине тревоги: ему отвечают, что, вероятно, горит Москва; но он слышит свирепый вопль народа, видит в окно лес копий и блистание мечей; зовет Басманова, ночевавшего во дворце, и велит ему узнать предлог мятежа. Сей Боярин, духа твердого, мог быть предателем, но только однажды: изменив Государю законному, уже стыдился изменить Самозванцу и, тщетно желав образумить, спасли легкомысленного, желал по крайней мере не разлучаться с ним в опасности. Басманов встретил толпу уже в сенях: на вопрос его, куда она стремится? в несколько голосов кричат: «веди нас к Самозванцу! выдай нам своего бродягу!» Басманов кинулся назад, захлопнул двери, велел телохранителям не пускать мятежников и, в отчаянии прибежав к расстриге, сказал ему: «Все кончилось! Москва бунтует; хотят головы твоей: спасайся! Ты мне не верил!» Вслед за ним ворвался в Царские покои один Дворянин безоружный, с голыми руками, требуя, чтобы мнимый сын Иоаннов шел к народу, дать отчет в своих беззакониях: Басманов рассек ему голову мечом. Сам Лжедмитрий, изъясняя смелость, выхватил бердыш у телохранителя Шварцгофа, растворил дверь в сени и, грозя народу, кричал: «Я вам не Годунов!» Ответом были выстрелы, и Немцы снова заперли дверь; но их было только 50 человек, и еще, во внутренних комнатах дворца, 20 или 30 Поляков, слуг и музыкантов: иных защитников, в сей грозный час, не имел тот, кому накануне повиновались миллионы! Но Лжедмитрий имел еще друга: не находя возможности противиться силе силою, в ту минуту, когда народ отбивал двери, Басманов вторично вышел к нему — увидел Бояр в толпе, и между ими самых ближних людей расстригиных: Князей Голицыных, Михайла Салтыкова, старых и новых изменников; хотел их усюветить; говорил об ужасе бунта, вероломства, безначалия; убеждал их одуматься; ручался за милость Царя. Но ему не дали говорить много: Михайло Татищев, им спасенный от ссылки, завопил: «злодей! иди в ад вместе с твоим Царем!» и ножом ударил его в сердце. Басманов испустил дух, и мертвый был сброшен с крыльца... судьба достойная изменника и ревностного слуги злодейства, но жалостная для человека, который мог и не захотел быть честью России!

Уже народ вломился во дворец, обезоружил телохранителей, искал

расстриги и не находил: дотолле смелый и неустрашимый, Самозванец, в смятении ужаса кинув свой меч, бегал из комнаты в комнату, рвал на себе волосы и, не видя иного спасения, выскочил из палат в окно на Житный двор — вывихнул себе ногу, разбил грудь, голову, и лежал в крови. Тут узнали его стрельцы, которые в сем месте были на страже и не участвовали в заговоре: они взяли расстригу, посадили на фундамент сломанного дворца Годуновского, отливали водою, изъявляли жалость. Самозванец, омывая теплою кровию развалины Борисовых чертогов (где жило некогда счастье, и также изменило своему любимцу), пришел в себя: молил стрельцов быть ему верными, обещал им богатство и чины. Уже стеклося вокруг их множество людей: хотели взять расстригу; но стрельцы не выдавали его и требовали свидетельства Царицы-Инокини, говоря: «если он сын ее, то мы умрем за него, а если Царица скажет, что он Лжедмитрий, то волен в Нем Бог». Сие условие было принято. Мнимая мать Самозванцева, вызванная Боярами, из келии, торжественно объявила народу, что истинный Димитрий скончался на руках ее в Угличе; что она, как жена слабая, действием угроз и лести была вовлечена в грех бессовестной лжи: неизвестного ей человека назвала сыном, раскаялась и молчала от страха, но тайно открывала истину многим людям. Призвали и родственников ее, Нагих: они сказали то же, вместе с нею виняся пред Богом и Россиею. Чтобы еще более удостоверить народ, Марфа показала ему изображение младенческого лица Димитриева, которое у нее хранилось и нимало не сходствовало с чертами лица расстригина.

Тогда стрельцы выдали обманщика, и Бояре велели нести его во дворец, где он увидел своих телохранителей под стражею: заплакал и протянул к ним руку, как бы благодаря их за верность. Один из сих Немцев, Ливонский Дворянин Фирстенберг, теснился сквозь толпу к Самозванцу и был жертвою озлобления Россиян: его умертвили; хотели умертвить и других телохранителей: но Бояре не велели трогать сих честных слуг — и в комнате, наполненной людьми вооруженными, стали допрашивать Лжедмитрия, покрытого бедным рубищем: ибо народ уже сорвал с него одежду Царскую. Шум и крик заглушали речи; слышали только, как уверяют, что расстрига на вопрос: «кто ты, злодей?» отвечал: «вы знаете: я — Димитрий» — и ссылался на Царицу-Инокиню; слышали, что Князь Иван Голицын возразил ему: «ее свидетельство уже нам известно: она предает тебя казни». Слышали еще, что Самозванец говорил: «несите меня на лобное место: там объявлю истину всем людям». Нетерпеливый народ ломился в дверь, спрашивая, винится ли злодей? Ему сказали, что винится — и два

выстрела прекратили допрос вместе с жизнью Отрепьева (его убили Дворяне Иван Воейков и Григорий Волуев). Толпа бросилась терзать мертвого; секли мечами, кололи труп бездушный и кинули с крыльца на тело Басманова, восклицая: «будьте неразлучны и в аде! вы здесь любили друг друга!» Яростная чернь схватила, извлекла сии нагие трупы из Кремля и положила близ лобного места: расстригу на столе, с маскою, дудкою и волынкою, в знак любви его к скоморошеству и музыке; а Басманова на скамье, у ног расстригиных.

Совершив главное дело, истребив Лжедмитрия, Бояре спасли Марину. Изумленная тревогою и шумом — не имев времени одеться — спрашивая, что делается и где Царь? слыша наконец о смерти мужа, она в беспамятстве выбежала в сени: народ встретил ее, не узнал и столкнул с лестницы. Марина возвратилась в свои комнаты, где была ее Польская Гофмейстерина с Шляхетками и где усердный слуга (именем Осмульский) стоял в дверях с обнаженною саблею: воины и граждане вломились, умертвили его, и Марина лишилась бы жизни или чести, если бы не приспели Бояре, которые выгнали неистовых, и взяв, опечатав все достояние бывшей Царицы, дали ей стражу для безопасности; не могли однако ж или не хотели унять кровопролития: убийства только начинались!

Еще при первом звуке набата воины окружили дома Ляхов, заградили улицы рогатками, завалили ворота: а Паны беспечно и крепко спали, так что слуги едва могли разбудить их — и самого Воеводу Сендомирского, который лучше многих видел опасность и предостерегал зятя. Мнишек, сын его, Князь Вишневецкий, Послы Сигизмундовы, угадывая вину и цель мятежа, спешили вооружить людей своих; иные прятались или в оцепенении ждали, что будет с ними, и скоро услышали вопль: «смерть Ляхам!» Пылая злобою, умертвив в Кремле музыкантов расстригиных, опустошив дом Иезуитов, истерзав Духовника Маринина, служившего Обедню, народ устремился в Китай и Белый город, где жили Поляки, и несколько часов плавал в крови их, алчно наслаждаясь ужасною местию, противною великодушию, если и заслуженною. Сила карала слабость, без жалости и без мужества: сто нападало на одного! Ни оборона, ни бегство, ни моления трогательные не спасали: Поляки не могли соединиться, будучи истребляемы в запертых домах или на улицах, прегражденных рогатками и копьями. Сии несчастные, накануне гордые, лобызали ноги Россиян, требовали милосердия именем Божиим, именем своих невинных жен и детей; отдавали все, что имели — клялися прислать и более из отечества: их не слушали и рубили. Иссеченные,

обезображенные, полумертвые еще молили о бедных остатках жизни: напрасно! В числе самых жестоких карателей находились Священники и Монахи переодетые; они вопили: «губите ненавистников нашей Веры!» Лилася и кровь Россиян: отчаяние вооружало убиваемых, и губители падали вместе с жертвами. Не тронув жилища Послов Сигизмундовых, народ приступал к домам Мнишков и Князя Вишневецкого, коих люди защищались и стреляли в толпы из окон: уже Москвитяне везли пушки, чтобы разбить сии дома в щепы и не оставить в них ни одного человека живого; но тут явились Бояре и велели прекратить убийства. Мстиславский, Шуйские скакали из улицы в улицу, обуздывая, умиряя народ и всюду рассылая стрельцов для спасения Ляхов, обезоруженных честным словом Боярским, что жизнь их уже в безопасности. Сам Князь Василий Шуйский успокоил и спас Вишневецкого, другие Мнишка. Именем Государственной Думы сказали Послам Сигизмундовым, что Лжедимитрий, обманув Литву и Россию, но скоро изобличив себя делами неистовыми, казнен Богом и народом, который в самом беспорядке и смятении уважил священный сан мужей, представляющих лицо своего Монарха, и мстил единственно их наглым единоплеменникам, приехавшим злодействовать в Россию. Сказали Воеводе Сендомирскому: «Судьба Царств зависит от Всевышнего, и ничто не бывает без его определения: так и в сей день совершилась воля Божия: кончилось Царство бродяги, и добыча исторгнута из рук хищника! Ты, его опекун и наставник — ты, который привел обманщика к нам, чтобы возмутить Россию мирную — не достоин ли такой же казни? Но хвалися счастьем: ты жив, и будешь цел; дочь твоя спасена — благодари Небо!» Ему позволили видеться с Мариною во дворце, и без свидетелей: не нужно было знать, что они могли сказать друг другу в своем злополучии! Воевода Сендомирский шел к ней и назад сквозь ряды мечей и копий, обогранных кровию его соотечественников; но Москвитяне смотрели на него уже более с любопытством, нежели с яростию: победа укротила злобу.

Еще смятение продолжалось несколько времени; еще из слобод городских и ближних деревень стремилось множество людей с дрекольем в Москву на звук колоколов; еще грабили имение Литовское, но уже без кровопролития. Бояре не сходили с коней и повелевали с твердостью; дружины воинские разгоняли чернь, везде охраняя Ляхов как пленников. Наконец, в 11 часов утра, все затихло. Велели народу смириться, и народ, утомленный мятежом, спешил домой отдыхать и говорить в семействах о чрезвычайных происшествиях сего дня, незабвенного для тех, которые были свидетелями его ужасов: «в

течение семи часов, пишут они, мы не слышали ничего, кроме набата, стрельбы, стука мечей и крика: *секи, руби злодеев!* не видали ничего, кроме волнения, бегания, скакания, смертоубийства и мятежа». Число жертв простиралось за тысячу, кроме избитых и раненых; но знатнейшие Ляхи остались живы, многие в рубашках и на соломе. Чернь ошибкою умертвила и некоторых Россиян, носивших одежду Польскую в угодность Самозванцу. Немцев щадили; ограбили только купцов Аугсбургских, вместе с Миланскими и другими, которые жили в одной улице с Лягами. Сей для человечества горестный день был бы еще несравненно ужаснее, по сказанию очевидцев, если бы Ляхи остереглись, успели соединиться для отчаянной битвы и зажгли город, к несчастию Москвы и собственному: ибо никто из них не избавился бы тогда от мести Россиян; следственно беспечность Ляхов уменьшила бедствие.

До самого вечера Москвитяне ликовали в домах или мирно сходились на улицах поздравлять друг друга с избавлением России от Самозванца и Поляков, хвалились своею доблестью и «не думали» (говорит Летописец) «благодарить Всевышнего: храмы были затворены!» Радуюсь настоящему, не тревожились о будущем — и после такого бурного дня настала ночь совершенно тихая: казалось, что Москва вдруг опустела; нигде не слышно было голоса человеческого: одни любопытные иноземцы выходили из домов, чтобы удивляться сей мертвой тишине города многолюдного, где за несколько часов пред тем все кипело яростным бунтом. Еще улицы дымились кровию, и тела лежали горами; а народ покоился как бы среди глубокого мира и непрерывного благоденствия — не имея Царя, не зная наследника — опятнав себя двукратною изменою и будущему Венценосцу угрожая третьою!

Но в сем безмолвии бодрствовало властолюбие с своими обольщениями и кознями, устремляя алчный взор на добычу мятежа и смертоубийства: на венец и скипетр, обагренные кровию двух последних Царей. Легко было предвидеть, кто возьмет сию добычу, силою и правом. Смелейший обличитель Самозванца, чудесно спасенный от казни и еще бесстрашный в новом усилении низвергнуть его: виновник, Герой, глава народного восстания, Князь от племени Рюрика, Св. Владимира, Мономаха, Александра Невского; второй Боярин местом в Думе, первый любовью Москвитян и достоинствами личными, Василий Шуйский мог ли еще остаться простым Царедворцем и после *такой* отваги, с *такою* знаменитостию, начать новую службу лести пред каким-нибудь новым Годуновым? Но

Годунова не было между тогдашними Вельможами. Старейший из них, Князь Федор Мстиславский, отличаясь добродушием, честностью, мужеством, еще более отличался смирением или благоразумием; не хотел слышать о державном сане и говорил друзьям: «если меня выберут в Цари, то немедленно пойду в Монахи». Сказание некоторых чужеземных Историков, что Боярин Князь Иван Голицын, имея многих знатных родственников и величаясь своим происхождением от Гедимины Литовского, вместе с Шуйским искал короны, едва ли достойно вероятия, будучи несогласно с известиями очевидцев. Сообщник Басманова, коего обнаженное тело в спи часы лежало на площади, загладил ли измену изменою, предав юного Феодора, предав и Лжедмитрия? Не равняясь ни сановитостию, ни заслугами, мог ли равняться и числом усердных клеветов с тем, кто без имени Царя уже начальствовал в день решительный для отечества, вел Москву и победил с нею? Имея силу, имея право, Шуйский употребил и всевозможные хитрости: дал наставления друзьям и приверженникам, что говорить в Синклите и на лобном месте, как действовать и править умами; сам изготовился, и в следующее утро, собрав Думу, произнес, как уверяют, речь весьма умную и лукавую: славил милость Божию к России, возвеличенной самодержцами варяжского племени; славил особенно разум и завоевания Иоанна IV, хотя и жестокого; хвалился своею блестящею службою и важною Государственною опытностию, приобретенною им в сие деятельное Царствование; изобразил слабость Иоаннова наследника, злое властолюбие Годунова, все бедствия его времени и ненависть народную к святоубийце, которая была виною успехов Лжедмитрия и принудила Бояр следовать общему движению. «Но мы, — говорил Шуйский, — загладили сию слабость, когда настал час умереть или спасти Россию. Жалею, что я, предупредив других в смелости, обязан жизнью Самозванцу: он не имел права, но мог умертвить меня, и помиловал, как разбойник милует иногда странника. Признаюсь, что я колебался, боясь упрека в неблагодарности; но глас совести, Веры, отечества, вооружил мою руку, когда я увидел в вас ревность к великому подвигу. Дело наше есть правое, необходимое, святое; оно, к несчастью, требовало крови: но Бог благословил нас успехом — следственно оно ему угодно!.. Теперь, избыв злодея, еретика, чернокнижника, должны мы думать об избрании достойного властителя. Уже нет племени Царского, но есть Россия: в ней можем снова найти угасшее на престоле. Мы должны искать мужа знаменитого родом, усердного к Вере и к нашим древним обычаям, добродетельного, опытного, следственно уже не юного — человека,

который, прияв венец и скипетр, любил бы не роскошь и пышность, но умеренность и правду, ограждал бы себя не копьями и крепостями, но любовью подданных; не умножал бы золота в казне своей, но избыток и довольствие народа считал бы собственным богатством. Вы скажете, что такого человека найти трудно: знаю; но добрый гражданин обязан желать совершенства, по крайней мере возможного, в Государе!»

Все знали, видели, чего хотел Шуйский: никто не дерзал явно противиться его желанию; однако ж многие мыслили и говорили, что без Великой Земской думы нельзя приступить к делу столь важному; что должно собрать в Москве чины Государственные из всех областей Российских, как было при избрании Годунова, и с ними решить, кому отдать Царство. Сие мнение было основательно и справедливо: вероятно, что и вся Россия избрала бы Шуйского; но он не имел терпения и друзья его возражали, что время дорого; что Правительство без Царя как без души, а столица в смятении; что надобно предупредить и всеобщее смятение России Немедленным вручением скиптра достойнейшему из Вельмож; что где Москва, там и Государство: что нет нужды в Совете, когда все глаза обращены на одного, когда у всех на языке одно имя... Сим именем огласилась вдруг и Дума и Красная площадь. Не все избирали, но никто не отвергал избираемого — и 19 Мая, во втором часу дня, звук литавр, труб и колоколов возвестил нового Монарха столице. Бояре и знатнейшее Дворянство вывели Князя Василия Шуйского из Кремля на лобное место, где люди воинские и граждане, гости и купцы, особенно к нему усердные, приветствовали его уже как отца России... там, где еще недавно лежала голова Шуйского на плахе и где в сей час лежало окровавленное тело расстригино! Подобно Годунову изъясняя скромность, он хотел, чтобы Синклит и Духовенство прежде всего избрали Архипастыря для Церкви, на место лжесвятителя Игнатия. Толпы восклицали: «Государь нужнее Патриарха для отечества!» и проводили Шуйского в храм Успения, в коем Митрополиты и Епископы ожидали и благословили его на Царство. Все сделалось так скоро и спешно, что не только Россияне иных областей, но и многие именитые Москвитяне не участвовали в сем избрании — обстоятельство несчастное: ибо оно служило предлогом для измен и смятений, которые ожидали Шуйского на престоле, к новому стыду и бедствию отечества!

В день Государственного торжества едва успели очистить столицу от крови и трупов: вывезли, схоронили их за городом. Труп Басманова отдали родственникам для погребения у церкви Николая Мокрого, где лежал его сын, умерший в юности. Тело Самозванца, быв три дня

предметом любопытства и ругательств на площади, было также вывезено и схоронено в убогом доме, за Серпуховскими воротами, близ большой дороги. Но Судьба не дала ему мирного убежища и в недрах земли. С 18 по 25 Мая были тогда жестокие морозы, вредные для садов и полей: суеверие приписывало такую чрезвычайность волшебству расстриги и видело какие-то ужасные явления над его могилою: чтобы пресечь сию молву, тело мнимого чародея вынули из земли, сожгли на Котлах и, смешав пепел с порохом, выстрелили им из пушки в ту сторону, откуда Самозванец пришел в Москву с великолепием! Ветер развеял бранные остатки злодея; но пример остался: увидим следствия!

Описав историю сего первого Лжедмитрия, должны ли мы еще уверять *внимательных* читателей в его обмане? Не явна ли для них истина сама собой в изображении случаев и деяний? Только пристрастные иноземцы, ревностно служив обманщику, ненавидя его истребителей и желая очернить их, писали, что в Москве убит действительный сын Иоаннов, не бродяга, а Царь законный, — хотя Россияне, казнив и бродягу, не могли хвалиться своим делом, соединенным с нарушением присяги: ибо святость ее нужна для целостности гражданских обществ, и вероломство есть всегда преступление. Недовольные укоризною справедливою, зложелатели России выдумали басню, украсили ее любопытными обстоятельствами, подкрепили доводами благовидными, в пищу умам наклонным к *историческому вольнодумству*, к сомнению в несомнительном, так что и в наше время есть люди, для коих важный вопрос о Самозванце остается еще нерешенным. Может быть, представив все главные черты истины в связи, мы дадим им более силы, если не для совершенного убеждения *всех* читателей, то по крайней мере для нашего собственного оправдания, чтобы они не укоряли нас слепую верою к принятому в России мнению, основанному будто бы на доказательствах слабых.

Выслушаем защитников Лжедмитриевой памяти. Они рассказывают следующее: «Годунов, предприяв умертвить Дмитрия, за тайну объявил свое намерение Царевичеву медику, старому Немцу, именем Симону, который, притворно дав слово участвовать в сем злодействе, спросил у девятилетнего Дмитрия, имеет ли он столько душевной силы, чтобы снести изгнание, бедствие и нищету, если Богу угодно будет искусить оными твердость его? Царевич отвечив: *имею*, а медик сказал: *В сию ночь хотят тебя умертвить. Ложась спать, обменяйся бельем с юным слугою, твоим ровесником; положи*

его к себе на ложе и скройся за печь: что бы ни случилось в комнате, сиди безмолвно и жди меня . Димитрий исполнил предписание. В полночь отворилась дверь: вошли два человека, зарезали слугу вместо Царевича и бежали. На рассвете увидели кровь и мертвого: думали, что убит Царевич, и сказали о том матери. Сделалась тревога. Царица кинулась на труп и в отчаянии не узнала, что сей мертвый отрок не сын ее. Дворец наполнился людьми: искали убийц; резали виновных и невинных; отнесли тело в церковь, и все разошлись. Дворец опустел, и медик в сумерки вывел оттуда Димитрия, чтобы спастись бегством в Украину, к Князю *Ивану Мстиславскому, который жил там в ссылке еще со времен Иоанновых* . Через несколько лет доктор и Мстиславский умерли, дав совет Димитрию искать безопасности в Литве. Сей юноша пристал к странствующим Инокам; был с ними в Москве, в земле Волошской, и наконец явился в доме Князя Вишневецкого». Известно, что и сам расстрига приписывал свое чудесное спасение доктору; но сочинители сей басни не знали, что Князь Иван Мстиславский умер Иноком Кирилловской обители еще в 1586 году, и что Иоанн никогда не ссылал его в Украину. Другие изобретатели называют медика-спасителя Августинном, прибавляя, что он был из числа многих людей ученых, которые жили тогда в Угличе, и бежал с Царевичем к Ледовитому морю, в пустынную обитель. Еще другие пишут, что сама Царица, угадывая злое намерение Борисово, с помощью своего иноземного Дворецкого (родом из Кельна), тайно удалила Димитрия и в его место взяла иерейского сына. Все такие сказки основаны на предположении, что убийство совершилось ночью, когда злодеи могли не распознать жертвы: и в сем случае вероятно ли, чтобы слуги Царицыны (не говорим об ней самой) и жители Углича, нередко видав Димитрия в церкви, обманулись в убитом, коего тело пять дней лежало пред их глазами? Но Царевич убит в полдень: кем? злодеями, которые жили во дворце и не спускали глаз с несчастного младенца... и кто предал его на убиение? мамка: от колыбели до могилы Димитрий был в руках у Годунова: сии обстоятельства ясно, несомнительно утверждены свидетельством летописцев и допросами целого Углича, сохраненными в нашем Государственном Архиве.

Если расстрига не был самозванец, то для чего же он, сев на престоле, не удовлетворил народному любопытству знать все подробности его судьбы чрезвычайной? для чего не объявил России о местах своего убежища, о своих воспитателях и хранителях в течение двенадцати или тринадцати лет, чтобы разрешить всякое сомнение? Никакою беспечною невозможно изъяснить столь важного

упущения. Манифесты, или грамоты, Лжедмитриевы внесены в летописи, и даже подлинники их целы в Архивах: следственно нельзя с вероятностью предположить, чтобы именно любопытнейшую из сих бумаг истребило время. Бродяга молчал, ибо не имел свидетельств *истинных*, и думал что, признанный Царем, безопасно может не трудить себя вымыслом *ложных*. В Литве говорил он, что в спасении его участвовали некоторые Вельможи и Дьяки Щелкаловы: сии Вельможи остались без известной награды и неизвестными для России; а Василий Щелкалов, вместе с другими опальными Борисова Царствования, хотя и снова явился у двора, однако ж не в числе ближних и первых людей. Расстригу окружали не старые, верные слуги его юности, а только новые изменники: от чего и пал он с такою легкостью!

«Но Царица-Инокиня Марфа признала сына в том, кто назывался Димитрием?» Она же признала его и самозванцем: первым свидетельством, безмолвным, неоткровенным, выраженным для народа только слезами умиления и ласками к расстриге, невольная Монахиня возвращала себе достоинство Царицы; вторым, торжественным, клятвенным, в случае лжи мать предавала сына злой смерти: которое же из двух достовернее? и что понятнее, обыкновенная ли слабость человеческая или действие ужасное, столь неестественное для горячности родительской? Геройство знаменитой жены Лигурийской, которая, скрыв сына от ярости неприятелей, на вопрос, где он? сказала: *здесь, в моей утробе*, и погибла в муках, не объявив его убежища — сие геройство, прославленное Римским Историком, трогает, но не изумляет нас: видим мать! Не удивились бы мы также, если бы и Царица-Инокиня, спасая истинного Димитрия, кинулась на копья Москвитян с восклицанием: *он сын мой!* И ей не грозили бы смертью за правду: грозили единственно судом Божиим за ложь. — Слово Царицы решило жребий того, кто чтит ее как истинную мать и делился с нею величием. Осуждая Лжедмитрия на смерть, Марфа осуждала и себя на стыд вечный, как участницу обмана — и не усомнилась: ибо имела еще совесть и терзалась раскаянием. Сколько людей слабых не впало бы в искушение зла, если бы они могли предвидеть, чего стоит всякое беззаконие для сердца! — Заметим еще обстоятельство достойное внимания: Шуйский искал гибели Лжедмитрия и был спасен от казни неотступным молением Царицы-Инокини, с явною опасностью для ее мнимого сына, избличаемого им в самозванстве: клеветник, изменник мог ли бы иметь право на такое ревностное заступление? Но спасение Героя истины умирало совесть виновной

Марфы. К сему прибавим вероятное сказание одного писателя иноземного (находившегося тогда в Москве), что расстрига велел было извергнуть тело Димитриево из Углицкого Соборного храма и погребсти в другом месте, как тело мнимого Иерейского сына, но что Царица-Инокиня не дозволила ему сделать того, ужасаясь мысли отнять у мертвого, истинного ее сына Царскую могилу.

Возражают еще: «Король Сигизмунд не взял бы столь живого участия в судьбе обманщика, и Вельможа Мнишек не выдал бы дочери за бродягу»; но Король и Мнишек могли быть легковерны в случае обольстительном для их страстей: Сигизмунд надеялся дать Россиянам Царя-Католика, взысканного его милостию, а Воевода Сендомирский видеть дочь на престоле Московском. И кто знает, что они действительно не сомневались в высоком роде беглеца? Удача была для них важнее правды. Король не дерзнул *торжественно* признать Лжедимитрия истинным до его решительного успеха, и Воевода Сендомирский, сделав только опыт, пожертвовав частию своего богатства надежде величия, оставил будущего зятя, когда увидел сопротивление Россиян. Сигизмунд и Мнишек обманулись, может быть, не во мнении о правах, но единственно во мнении о счастии или благоразумии Самозванца, думав, что он удержит на голове венец, данный ему изменою и заблуждением: для того Король спешил громогласно объявить себя виновником расстригина державства, и Пан Вельможный быть тестем Царя, хотя бы и племени Отрепьевых. Похитителями в их силе и благоденствии гнушаются не страсти мирские, но только чистая совесть и добродетель уединенная.

Убедительнее ли и суждение тех друзей Лжедимитрия, которые говорят: «войско, Бояре, Москва, не приняли бы его в Цари без сильных доказательств, что он сын Иоаннов?» Но войско, Бояре, Москва и свергнули его как уличенного самозванца: для чего верить им в первом случае и не верить в последнем? В обоих конечно действовало удостоверение, основанное на доказательствах; но люди и народы всегда могли ошибаться, как свидетельствует история... и самого Лжедимитрия!

Напомним читателям, что знаменитейший из клеветов и единственный верный друг расстриги в беседах искренних не скрывал его самозванства: такое важное признание слышал и сообщил потомству Немецкий Пастор Бер, который любил, усердно славил Лжедимитрия и клял Россиян за убиение Царя, хотя и не сына Иоаннова. Сей же очевидец тогдашних деяний предал нам следующие, не менее достопамятные свидетельства истины:

«1) Голландский аптекарь Аренд Клаузенд, быв 40 лет в России, служив Иоанну, Феодору, Годунову, Самозванцу и лично зная, ежедневно выдав Димитрия во младенчестве, сказывал мне утвердительно, что мнимый Царь Димитрий есть совсем другой человек и не походит на истинного, имевшего смуглое лицо и все черты матери, с которою Самозванец нимало не сходствовал. — 2) В том же уверяла меня Ливонская пленница, Дворянка Тизенгаузен, освобожденная в 1611 году, быв повивальною бабкою Царицы Марии, служив ей днем и ночью, не только в Москве, но и в Угличе — непрестанно выдав Димитрия живого, видел и мертвого. — 3) Скоро по убиении Лжедимитрия выехал я из Москвы в Углич и, разговаривая там с одним маститым старцем, бывшим слугою при дворе Марии, заклинал его объявить мне истину о Царе убитом. Он встал, перекрестился и так отвечивал: *Москвитяне клялися ему в верности и нарушили клятву: не хвалю их. Убит человек разумный и храбрый, но не сын Иоаннов, действительно зарезанный в Угличе: я видел его мертвого, лежащего на том месте, где он всегда игрывал. Бог судия Князьям и Боярам нашим: время покажет, будем ли счастливее* ».

В заключение упомянем о свидетельстве известного Шведа Петра, который был Посланником в Москве от Карла IX и Густава Адольфа, лично знал Самозванца и пишет, что он казался человеком лет за тридцать; а Димитрий родился в 1582 году и следственно имел бы тогда не более двадцати четырех лет от рождения.

Одним словом, несомнительные, исторические и нравственные доказательства убеждают нас в истине, что мнимый Димитрий был самозванец. Но представляется другой вопрос: кто же именно? Действительно ли расстрига Отрепьев? Многие иноземцы-современники не хотели верить, чтобы беглый Инок Чудовской обители мог сделаться вдруг мужественным витязем, неустрашимым бойцом, искусным всадником, и многие считали его Поляком или Трансильванцем, незаконным сыном Героя Батория, воспитанником Иезуитов, утверждаясь на мнении некоторых знатных Ляхов, и прибавляя, что он нечисто говорил языком Русским: мнение явно несправедливое, когда современные донесения Иезуитов к их начальству свидетельствуют, что они узнали его в Литве уже под именем Димитрия, и не Католиком, а сыном Греческой Церкви. Никто из Россиян не упрекал Самозванца худым знанием языка нашего, коим он владел совершенно, говорил правильно, писал с легкостью, и не уступал никакому Дьяку тогдашнего времени в красивом изображении букв. Имея несколько подписей Самозванцевых, видим в Латинских

слабую, неверную руку ученика, а в Русских твердую, мастерскую, кудрявый почерк грамотея приказного, каков был Отрепьев, Книжник Патриарший. Возражение, что келии не производят витязей, уничтожается историею его юности: одеваясь Иноком, не вел ли он жизни смелого дикаря, скитаясь из пустыни в пустыню, учась бесстрашию, не боясь в дремучих лесах ни зверей, ни разбойников, и наконец быв сам разбойником под хоругвию Козаков Днепровских? Если некоторые из людей, ослепленных личным к Нему пристрастием, находили в Лжедмитрии какое-то *величие*, необыкновенное для человека, рожденного в низком состоянии, то другие хладнокровнейшие наблюдатели видели в Нем все признаки закоснелой подлости, не изглаженные ни обхождением с знатными Ляхами, ни счастьем нравиться Мнишковой дочери. С умом естественным, легким, живым и быстрым, даром слова, знаниями школьника и грамотея соединяя редкую дерзость, силу души и воли, Самозванец был однако ж худым лицедеем на престоле, не только без основательных сведений в государственной Науке, но и без всякой сановитости благородной: сквозь великолепие державства проглядывал в Царе бродяга. Так судили о нем и Поляки беспристрастные. — Доселе мы могли затрудняться одним важным свидетельством: известный в Европе Капитан Маржерет, усердно служив Борису и Самозванцу, видев людей и происшествия собственными глазами, уверял Генрика IV, знаменитого Историка де-Ту и читателей своей книги о Московской Державе, что Григорий Отрепьев был не Лжедмитрий, а совсем другой человек, который с ним (Самозванцем) ушел в Литву и с ним же возвратился в Россию, вел себя непристойно, пьянствовал, употреблял во зло благосклонность его, и сосланный им за то в Ярославль, дожил там до воцарения Шуйского. Ныне, отыскав новые современные предания исторические, изыскаем Маржеретово сказание обманом Монаха Леонида, который назвался именем Отрепьева для уверения Россиян, что Самозванец не Отрепьев. Царь Годунов имел способы открыть истину: тысячи лазутчиков ревностно служили ему не только в России, но и в Литве, когда он разведывал о происхождении обманщика. Вероятно ли, чтобы в случае столь важном Борис легкомысленно, без удостоверения, объявил Лжедмитрия беглецом Чудовским, коего многие люди знали в столице и в других местах, следственно узнали бы и неправду при первом взоре на Самозванца? Наконец Москвитяне видели Лжедмитрия, живого, мертвого, и все еще утвердительно признавали Диаконом Григорием; ни один голос сомнения не раздался в потомстве до нашего времени.

Сего довольно. Приступаем к описанию дальнейших бедствий России, не менее чрезвычайных, не менее оскорбительных для ее чести, но уже подобных мрачному сновидению, — уже только любовных для народа, коему Небо судило временным унижением достигнуть величия и который достиг оно, загладив память слабости великодушным напряжением сил и память стыда необыкновенною славою.
